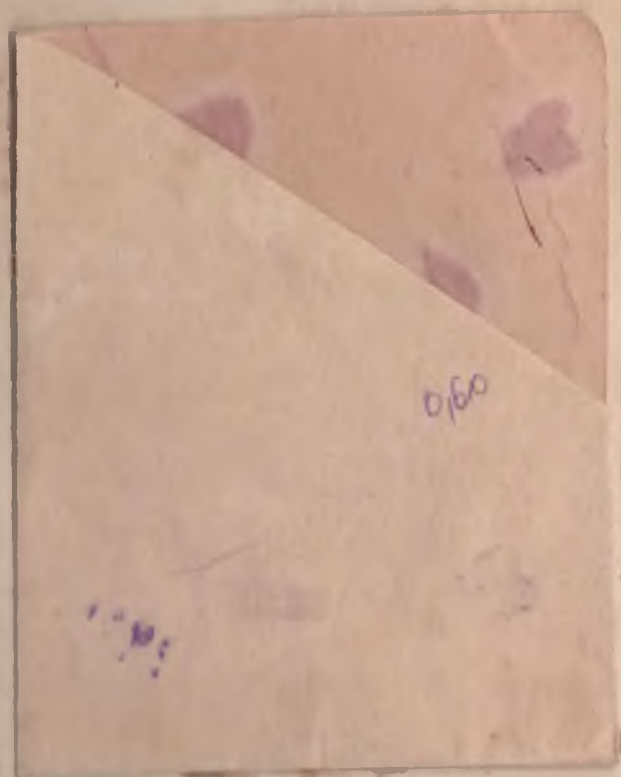


111
C. 111



0160

99
2012

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
Н. С. ЛѢСКЪ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. П. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокъомъ въ Лейпцигѣ.

663.1 ✓

ТОМЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе въ журналѣ „Нива“ на 1903 г.

С. ПЕТЕРБУРГЪ

Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1903.

Профсоюзный центр
РГБ СССР
Учредительский комитет
Заб-д № 43

1496 ✓

✓

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

CHRISTOPHER PARKMAN

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемые въ этой книгѣ святочные рассказы написаны мною разновременно для праздничныхъ — преимущественно для рождественскихъ и новогоднихъ номеровъ разныхъ періодическихъ изданій. Изъ этихъ рассказовъ только немногіе имѣютъ элементъ *чужденаго* — въ смыслѣ сверхчувственного и таинственнаго. Въ прочихъ причудливое или загадочное имѣетъ свои основанія не въ сверхъестественномъ или сверхчувственномъ, а истекаетъ изъ свойствъ русскаго духа и тѣхъ общественныхъ вѣяній, въ которыхъ для многихъ, и въ томъ числѣ для самого автора, написавшаго эти рассказы, заключается значительная доля страннаго и удивительнаго.

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ одномъ образованномъ семействѣ сидѣли за чаемъ друзья и говорили о литературѣ — о вымыслѣ, о фавулѣ. Сожалѣли, отчего все это у насъ бѣднѣетъ и блѣднѣетъ. Я припомнилъ и рассказалъ одно характерное замѣчаніе покойнаго Писемскаго, который говорилъ, будто усматриваемое литературное оскудѣніе прежде всего связано съ размноженіемъ желѣзныхъ дорогъ, которыя очень полезны торговлѣ, но для художественной литературы вредны.

«— Теперь человекъ проѣзжаетъ много, но скоро и безобидно, — говорилъ Писемскій, — и оттого у него никакихъ сильныхъ впечатлѣній не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользитъ. Оттого и бѣдно. А бывало, какъ ѣдешь изъ Москвы въ Кострому «на долгихъ», въ общемъ тарантасѣ, или «на сдаточныхъ», — да и ямщикъ-то тебѣ попадетъ подлець, да и сосѣди нахалы, да и постоянный дворникъ шельма, а «куфарка» у него неопрятице, — такъ вѣдь сколько разнообразія насмотришься. А еще какъ сердце не вытеритъ, — изловилъ какуу-нибудь гадость во щахъ, да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на отвѣтъ — вдесятеро изсерамитъ, такъ отъ впечатлѣній-то просто и не отдѣлаешься. И стоять они въ тебѣ густо, точно суточная каша прѣветъ, — ну, разумѣется, густо и въ сочиненіи выходило; а нынче все это по желѣзнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ѣшь — пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять ѣдешь, и только всѣхъ у тебя впе-

чтлвнй, что лакей сдачей тебя обсчиталъ, а обругаться съ нимъ въ свое удовольствіе уже и некогда».

Одинъ гость на это замѣтилъ, что Писемскій оригиналенъ, но неправъ, и привелъ въ примѣръ Диккенса, который писалъ въ странѣ, гдѣ очень быстро ѣздятъ, однако же видѣлъ и наблюдалъ много, и фабулы его рассказовъ не страдаютъ скудостію содержанія.

— Исключеніе составляютъ развѣ только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но въ нихъ есть однообразіе; однако, въ этомъ винить автора нельзя, потому что это такой родъ литературы, въ которомъ писатель чувствуетъ себя невольникомъ слишкомъ тѣсной и правильно ограниченной формы. Отъ святочного рассказа непременно требуется, чтобы онъ былъ приуроченъ къ событіямъ святочного вечера — отъ Рождества до Крещенія, чтобы онъ былъ сколько-нибудь фантастиченъ, имѣлъ какую-нибудь мораль, хотя въ родѣ опроверженія вреднаго предразсудка, и наконецъ — чтобы онъ оканчивался непременно весело. Въ жизни такихъ событій бываетъ немного, и потому авторъ неволитъ себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую къ программѣ. А черезъ это въ святочныхъ рассказахъ и замѣчается большая дѣланность и однообразіе.

— Ну, я не совѣмъ съ вами согласенъ, — отвѣчалъ третій гость, почтенный человѣкъ, который часто умѣлъ сказать слово кстати. Потому намъ всемъ и захотѣлось его слушать.

— Я думаю, — продолжалъ онъ: — что и святочный рассказъ, находясь въ своихъ его рамкахъ, все-таки можетъ видоизмѣниться и представлять любопытное разнообразіе, отражая въ себѣ и свое время, и нравы.

— Но чѣмъ же вы можете доказать ваше мнѣніе? Чтобы оно было убѣдительно, надо, чтобы вы намъ показали такое событіе изъ современной жизни русскаго общества, гдѣ отразился бы и вѣкъ, и современный человѣкъ, и между тѣмъ все бы это отвѣчало формѣ и программѣ святочного рассказа, то-есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предразсудокъ, и имѣло бы не грустное, а веселое окончаніе.

— А что же, я могу вамъ представить такой рассказъ, если хотите.

— Сдѣлайте одолженіе! Но только помните, что онъ долженъ быть *истинное происшествіе!*

— О, будьте увѣрены, я расскажу вамъ происшествіе самое истиннѣйшее и притомъ о лицахъ мнѣ очень дорогихъ и близкихъ. Дѣло касается моего родного брата, который, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, хорошо служить и пользуется вполне имъ заслуженною доброю репутаціею.

Все подтвердили, что это правда, и многіе добавили, что братъ рассказчика, дѣйствительно, достойный и прекрасный человѣкъ.

— Да,—отвѣчать тотъ:—вотъ я и поведу рѣчь объ этомъ, какъ вы говорите, прекрасномъ человѣкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Назадъ тому три года братъ пріѣхалъ ко мнѣ на святки изъ провинціи, гдѣ онъ тогда служилъ, и точно его какая муха укусила—приступилъ ко мнѣ и къ моей женѣ съ неоступною просьбою: «жените меня».

Мы сначала думали, что онъ шутить, но онъ серьезно и не съ короткимъ пристаесть: «жените, сдѣлайте милость! Спасите меня отъ невыносимой скуки одиночества! Оностылѣла холостая жизнь, надоѣли билетки и вздоры провинціи,—хочу имѣть свой очагъ, хочу сидѣть вечеромъ съ дорогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну, да постой же, говоримъ. — все это прекрасно и пусть будетъ по-твоему. — Господь тебя благослови. — женись, но вѣдь надобно же время, надо имѣть въ виду хорошую дѣвушку, которая бы пришлась тебѣ по сердцу и чтобы ты тоже нашелъ у нея къ себѣ расположеніе. На все это надо время.

А онъ отвѣчаетъ:

— Что же. времени довольно: двѣ недѣли святокъ вѣнчаться нельзя, — вы меня въ это время сосватайте, а на Крещенье, вечеркомъ, мы обвѣнчаемся и уѣдемъ.

— Э, говорю, — да ты, любезный мой, должно-быть, немножко съ ума сошелъ отъ скуки. (Слова «лепхонагъ» тогда еще не было у насъ въ употребленіи). Мнѣ, говорю, съ тобой дурачиться некогда, я сейчасъ въ судъ на службу иду, а ты вотъ тутъ оставайся съ моей женою и фантазируй.

Думаль, что все это, разумѣется, пустяки или, по край-

ной мѣрѣ, что это затѣя очень далекая отъ исполненія, а между тѣмъ возвращаюсь къ обѣду домой и вижу, что у нихъ уже дѣло созрѣло.

Жена говоритъ мнѣ:

— У насъ была Машенька Васильева, просила меня съѣздить съ нею выбрать ей платье, и пока я одѣвалась, они (т. е. братъ мой и эта дѣвица) посидѣли за чаемъ, и братъ говорить: «Вотъ прекрасная дѣвушка! Что тамъ еще много выбрать,—жените меня на ней!»

Я отвѣчаю женѣ:

— Теперь я вижу, что братъ въ самомъ дѣлѣ одурѣлъ.

— Нѣтъ, позволь,—отвѣчаетъ жена:—отчего же это непременно «одурѣлъ»? Зачѣмъ же отрицать то, что ты самъ всегда уважалъ?

— Что это такое я уважалъ?

— Безотчетныя симпатіи, влеченія сердца.

— Ну, говорю; — матушка, меня на это не поддѣнешь. Все это хорошо въ-время и кстати, хорошо, когда эти влеченія вытекаютъ изъ чего-нибудь ясно сознаннаго, изъ признанія видимыхъ превосходствъ души и сердца, а это—что такое... въ одну минуту увидѣлъ и готовъ обрѣшется на всю жизнь.

— Да, а ты что же имѣешь противъ Машеньки? — она именно такая и есть, какъ ты говоришь,—дѣвушка яснаго ума, благороднаго характера и прекраснаго и вѣрнаго сердца. Притомъ и онъ ея очень понравился.

— Какъ! воскликнулъ я, — такъ это ты ужъ и съ ея стороны успѣла заручиться признаемъ?

— Признаніе, отвѣчаетъ,—не признаніе, а развѣ это не видно? Любовь вѣдь — это по нашему женскому вѣдомству,—мы ее замѣчаемъ и видимъ въ самомъ зародышѣ.

— Вы, говорю, — всѣ очень противныя свахи: вамъ бы только кого-нибудь женить, а тамъ что изъ этого выйдетъ,—это до васъ не касается. Побойся послѣдствій твоего легкомыслія.

— А я ничего, говорить,—не боюсь, потому что я ихъ обоихъ знаю, и знаю, что братъ твой — прекрасный человекъ, и Маша — премилая дѣвушка, и они какъ дали слово заботиться о счастіи другъ друга, такъ это и исполнять.

— Какъ! закричалъ я, себя не помня,—они уже и слово другъ другу дали?

— Да, — отвѣчаетъ жена: — это было пока иносказательно, по понятно. Ихъ вкусы и стремленія сходятся, и я вечеромъ поѣду съ твоимъ братомъ къ нимъ, — онъ навѣрно понравится старикамъ, и потомъ...

— Что же, что потомъ?

— Потомъ, — нускай какъ знаютъ; ты только не мѣшайся.

— Хорошо, говорю, — хорошо, очень радъ въ подобную глупость не мѣшаться.

— Глупости никакой не будетъ.

— Прекрасно.

— А будетъ все очень хорошо: они будутъ счастливы!

— Очень радъ! Только не мѣшаетъ, говорю, — моему братцу и тебѣ знать и помнить, что отецъ Машеньки всѣмъ извѣстный богатый сквалыжникъ.

— Что же изъ этого? Я этого, къ сожалѣнiю, и не могу оспаривать, но это нимало не мѣшаетъ Машенькѣ быть прекрасною дѣвушкой, изъ которой выйдетъ прекрасная жена. Ты вѣрно забылъ то, надъ чѣмъ мы съ тобою не разъ останавливались: вспомни, что у Тургенева — всѣ его лучшiя женщины, какъ на подборъ, имѣли очень не почтенныхъ родителей.

— Я совсѣмъ не о томъ говорю. Машенька, дѣйствительно, превосходная дѣвушка, а отецъ ея, выдавая замужъ двухъ старшихъ ея сестеръ, обоихъ зятьевъ обманулъ и ничего не далъ, — и Машѣ ничего не дастъ.

— Почему это знать? Онъ ее больше всѣхъ любитъ.

— Ну, матушка, держи карманъ шире: знаемъ мы, что такое ихъ «особенная» любовь къ дѣвушкамъ, которая на выходѣ. Всѣхъ обманетъ! Да ему и не обмануть нельзя, — онъ на томъ стоитъ, и состоянiю-то своему, говорятъ, тѣмъ начало положилъ, что деньги въ большой ростъ подъ залоги давалъ. У такого-то человѣка вы захотѣли любви и великодушiя донскаться. А я вамъ то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если онъ ихъ надулъ и они теперь всѣ во враждѣ съ нимъ, то ужъ моего братца, который съ дѣтства страдалъ самою утровою деликатностию, онъ и подавно оставитъ на бобахъ.

— То-есть какъ это, говорить, — на бобахъ?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Ибѣтъ, не дурачусь.

— Да развѣ ты не знаешь, что такое значитъ «оставить на бобахъ»? Ничего не дастъ Машенькѣ,—вотъ и вся не-долга.

— Ахъ, вотъ это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть можетъ, но только я, говорю,—никогда не думала, что по-твоему—получить пут-ную жену, хотя бы и безъ приданого,—это называется «остаться на бобахъ».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчасъ—въ чужой огороде, а вамъ, по сосѣдству, шишлюку въ бокъ...

— Я говорю вовсе не о себѣ...

— Нѣтъ, отчего же?..

— Ну, это странно, та снѣге!

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счетъ не говорю.

— Ну, думаль.

— Нѣтъ, совсѣмъ и не думаль.

— Ну, воображалъ.

— Да, нѣтъ же, чортъ возьми, ничего я не воображалъ!

— Да чего же ты кричишь!

— Я не кричу!

— И «черти»... «чортъ»... Что это такое?

— Да потому, что ты меня изъ терпѣнія выводилъ.

— Ну, вотъ то-то и есть! А если бы я была богата и принесла съ собою тебѣ приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержалъ и, по выраженію покойнаго поэта Толстого, «начавъ — какъ богъ, окончилъ — какъ свинья». Я принялъ обиженный видъ, — потому, что и въ самомъ дѣлѣ чувствовалъ себя несправедливо обиженнымъ,—и, покачавъ головою, повернулся и пошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Но, затворяя за собою дверь, почувствовалъ недо-лимую жажду отмщенія,—снова отворилъ дверь и сказалъ:

— Это свинство!

А она отвѣчаетъ:

— Merci, мой милый мужъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Чортъ знаетъ, что за сцена! И не забудьте — это послѣ четырехъ лѣтъ самой счастливой и ничѣмъ ни на

минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно—и непереносно! Что за вздор такой. И изъ-за чего!.. Все это набаламутиль братъ. И что мнѣ такое, что я такъ кипячусь и волнуюсь! Въдь онъ въ самомъ дѣлѣ взрослый и не въ правѣ ли онъ самъ обсудить, какая особа ему нравится и на комъ ему жениться?.. Господи, въ этомъ сыну родному нынче не укажешь, а то чтобы еще братъ брата долженъ былъ слушаться!.. Да и по какому, наконецъ, праву?.. И могу ли я, въ самомъ дѣлѣ, быть такимъ провидцемъ, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чѣмъ кончится?.. Машенька, дѣйствительно, превосходная дѣвушка, а моя жена развѣ не прелестная женщина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодеи не называть, а между тѣмъ вотъ мы съ нею, послѣ четырехъ лѣтъ счастливой, ни на минуту ничѣмъ не смущенной жизни, теперь разобрались какъ портной съ портнихой!.. И все изъ-за пустяковъ, изъ-за чужой шутовской прихоти!..

Мнѣ стало ужасно совѣстно передъ собою и ужасно ее жалко, потому что я ея слова уже считалъ ни во что, а за все винилъ себя, и въ такомъ грустномъ и недовольномъ настроеніи уснулъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, закутавшись въ мягкій ватный халатъ, выстеганный мнѣ собственными руками моею милою женою!..

Подкупающая это вещь—носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Такъ оно хорошо, такъ мило и такъ во-время и не во-время напоминаетъ и наши вины, и тѣ драгоценныя ручки, которыя вдругъ захочется расцѣловать и просить въ чемъ-то прощенія.

— Прости меня, мой ангель, что ты меня, наконецъ, вывела изъ терпѣнія. И впередъ не буду.

И мнѣ, признаться, до того захотѣлось поскорѣе идти съ этой просьбой, что я проснулся, всталъ и вышелъ изъ кабинета.

Смотрю—въ домѣ вездѣ темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Гдѣ же барыня?

— А онѣ, отвѣчаетъ, — уѣхали съ вашимъ братцемъ къ Марьи Николаевны отцу. Я вамъ сейчасъ чай приготовлю.

«Какова! думаю, — значитъ, она своего упорства не оставляетъ,—она таки хочетъ женить брата на Машенькѣ!.. Ну, пусть ихъ дѣлаютъ, какъ знаютъ, и пусть ихъ Ма-

шевьякинъ отецъ вадуеть, какъ онъ надулъ своихъ старшихъ зятьевъ. Да даже еще и болѣе, потому что тѣ сами жохи, а мой братъ,—воплощенная честность и деликатность. Тѣмъ лучше, — пусть онъ ихъ надуеть, — и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первомъ урокъ, какъ людей сватать».

Я получилъ изъ рукъ горничной стаканъ чаю и усѣлся читать дѣло, которое завтра начиналось у насъ въ судѣ и представляло для меня не мало трудностей.

Занятіе это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя съ братомъ возвратились въ два часа и оба пререселые.

Жена говоритъ мнѣ:

— Не хочешь ли холоднаго ростбифа и стаканъ воды съ виномъ? А мы у Васильевыхъ ужинали.

— Нѣтъ, говорю,—покорно благодарю.

— Николай Ивановичъ расщедрился и отлично насъ покормилъ.

— Вотъ какъ.

— Да, — мы прересело провели время, и шампанское пили.

— Счастливыцъ! говорю, — а самъ думаю: значить, эта бестія, Николай Ивановичъ, сразу раскусилъ, что за теленокъ мой братъ, и далъ ему пошла недаромъ. Теперь онъ его будетъ ласкать, пока тамъ жениховскій рученецъ кончится, а потомъ—быть бычку на обрывочку.

А чувства мои противъ жены снова озлобились, и я не сталъ просить у нея прощенья въ своей невинности. И даже, если бы я былъ свободенъ и имѣлъ досугъ вникать во всѣ перипетіи затѣянной ими любовной игры, то не удивительно было бы, что я снова не вытерпѣлъ бы, — во что-нибудь вмѣшался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастью, мнѣ было некогда. Дѣло, о которомъ я вамъ говорилъ, заняло насъ на судѣ такъ, что мы съ нимъ не чаяли освободиться и къ празднику, а потому я домой являлся только поѣсть да выспаться, а всѣ дни и часть ночей проводилъ предъ алтаремъ Феиды.

А дома у меня дѣла не ждали, и когда я подъ самый сочельникъ явился подъ свой кровъ, довольный тѣмъ, что освободился отъ судебныхъ занятій, меня встрѣтили тѣмъ, что пригласили осмотрѣть роскошную корзину съ дорогими подарками, подносимыми Машенькѣ моимъ братомъ.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невестѣ, — объяснила мнѣ моя жена.

— Ага! такъ вотъ уже какъ! Поздравляю.

— Какъ же! Твой братъ не хотѣлъ дѣлать формальнаго предложенія, не переговоривъ еще разъ съ тобою, но онъ снѣшить своей свадьбой, а ты какъ на зло сидѣть все въ своемъ противномъ судѣ. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да и прекрасно, говорю, — незначѣмъ было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не острию.

— Или иронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря па все твое карканье, они будутъ пресчастливы.

— Конечно, говорю, — ужъ если ты ручаешься, то будутъ... Есть такая пословица: «кто думаетъ три дни, тотъ выберетъ злыдни». Не выбирать — вѣрнѣе.

— А что же, — отвѣчаетъ моя жена, закрывая корзинку съ дарами: — вѣдь это вы думаете, будто вы насъ выбераете, а въ существѣ, вѣдь, все это вздоръ.

— Почему же это вздоръ? Надѣюсь, не дѣвушки выбираютъ жениховъ, а женихи къ дѣвушкамъ сватаются.

— Да, сватаются — это правда, но выбора, какъ осмотрительнаго или разсудительнаго дѣла, никогда не бываетъ.

Я покачалъ головою и говорю:

— Ты бы подумала о томъ, что ты такое говоришь. Я вотъ тебя, напримѣръ, выбралъ — именно изъ уваженія къ тебѣ и сознавая твои достоинства.

— И врешь.

— Какъ вру?!

— Врешь, — потому что ты выбралъ меня совсѣмъ не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебѣ понравилась.

— Какъ, ты даже отрицаешь въ себѣ достоинства!

— Нимало, — достоинства во мнѣ есть, а ты все-таки на мнѣ не женился бы, если бы я тебѣ не понравилась.

Я чувствовалъ, что она говоритъ правду.

— Однакоже, говорю, — я цѣлый годъ ждалъ и ходилъ къ вамъ въ домъ. Для чего же я это дѣлалъ?

— Чтобы смотрѣть на меня.

— Не правда,—я изучалъ твой характеръ.

Жена расхохоталась.

— Что за пустой смѣхъ!

— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой другъ, во мнѣ не изучалъ и изучать не могъ.

— Это почему?

— Сказать?

— Сдѣлай милость, скажи!

— Потому, что ты былъ въ меня влюбленъ.

— Пусть такъ, но это мнѣ не мѣшало видѣть твои душевныя свойства.

— Мѣшало.

— Нѣтъ, не мѣшало.

— Мѣшало, и всегда всякому будетъ мѣшать, а потому это долгое изученіе и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись въ женщину, вы на нее смотрите съ *разсужденіемъ*, а на самомъ дѣлѣ вы только *глазѣте съ воображеніемъ*.

— Ну... однако, говорю,—ты ужъ это какъ-то... очень реально.

А самъ думаю: вѣдь это правда!

А жена говоритъ:

— Полно думать. — худа не вышло, а гечетъ переодѣвайся скорѣе и поѣдемъ къ Машенькѣ: мы сегодня у нихъ встрѣчаемъ Рождество, и ты долженъ принести ей и брату свое поздравленіе.

— Очень радъ, говорю. И поѣхали.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Тамъ было подношеніе даровъ и принесеніе поздравленій, и всѣ мы порядочно упились веселымъ нектаромъ Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всѣхъ вѣру въ счастье, ожидающее обрученныхъ, и пить шампанское. Въ этомъ и проходили дни и ночи то у насъ, то у родителей цѣлѣты.

Въ такомъ настроеніи долго ли время тянется?

Не успѣли мы оглянуться, какъ уже налетѣлъ и канунъ новаго года. Ожиданія радостей усиливаются. Свѣтъ цѣлѣй

желать радостей,—и мы отъ людей не отстали. Встрѣтили мы новый годъ опять у Машенькиныхъ родныхъ съ такимъ, какъ дѣды наши говорили, «мочимордіемъ», что оправдали дѣдовское реченіе: «Руси есть веселіе шти». Одно было не въ порядкѣ. Машенькинъ отецъ о приданомъ молчалъ, но зато сдѣлалъ дочери престрашный и, какъ потомъ я понялъ, совершенно непозволительный и злощастій подарокъ. Онъ самъ надѣлъ на нее при всѣхъ за ужиномъ богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянувъ на эту вещь, даже подумали «очень хорошо».

— Ого-го, молъ,—сколько это должно стоить? Вѣроятно, такая штучка припасена съ оныхъ давнихъ, благихъ дней, когда богатые люди изъ знати еще въ ломбарды веней не посылали, а при большой нуждѣ въ деньгахъ охотнѣе вѣряли свои цѣнности тайнымъ ростовщикамъ въ родѣ Машенькинаго отца.

Жемчугъ крупный, окатистый и чрезвычайно живой. При томъ ожерелье сдѣлано въ старомъ вкусѣ, что называлось рефидью, рясами, — назади начато небольшимъ, но самымъ скатнымъ кафимскимъ зерномъ, а потомъ все крупнѣй и крупнѣе бурмицкое и наконецъ, что далѣе кверху, то пошли какъ бобы, и въ самой серединѣ три черные перла поражающей величины и самаго лучшаго блеска. Прекрасный ~~и самый~~ даръ совсѣмъ затмевалъ сконфуженные передъ нимъ дары моего брата. Словомъ сказать. — мы, грубые мужчины, все находили отцовскій подарокъ Машенькѣ прекраснымъ, и намъ понравилось также и слово, произнесенное старикомъ при подачѣ ожерелья. Отецъ Машеньки, подавъ ей эту драгоценность, сказалъ: — «Вотъ тебѣ, доченька, штучка съ наговоромъ: ее никогда ни тля не исплитъ, ни воръ не украдетъ, а если и украдетъ, то не обрадуется. Это вѣчное».

Но у женщины вѣдь на все свои точки зрѣнія, и Машенька, получивъ ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, уловивъ удобную минуту, даже сдѣлала Николаю Ивановичу у окна выговоръ, который онъ по праву родства выслушалъ. Выговоръ ему за подарокъ жемчуга слѣдовать потому, что жемчугъ знаменуетъ и предвѣщаетъ слезы. А потому жемчугъ никогда для новогоднихъ подарковъ не употребляется.

Николай Ивановичъ, впрочемъ, ловко отшутился.

— Это, говорить, — во-первыхъ, пустые предрасудки и если кто-нибудь можетъ подарить мнѣ жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчасъ возьму. Я, сударыня, тоже въ свое время эти тонкости проходилъ и знаю, чего нельзя дарить. Дѣвушка нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятіямъ персовъ, есть кости людей, умершихъ отъ любви, а замужнимъ дамамъ нельзя дарить аметиста *avec flèches d'Amour*, но тѣмъ не менѣе я пробовалъ дарить такіе аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А онъ говоритъ:

— Я и вамъ попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчугъ жемчугу рознь. Не всякій жемчугъ добывается со слезами. Есть жемчугъ персидскій, есть изъ Краснаго моря, а есть перлы изъ тихихъ водъ — *d'eau douce*, тотъ безъ слезы берутъ. Сентиментальная Марія Стюартъ только такой и носила *perle d'eau douce* изъ шотландскихъ рѣкъ, но онъ ей не принесъ счастья. Я знаю, что надо дарить, — то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вамъ не подарю ничего *avec flèches d'Amour*, а подарю вамъ хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь, и выбрось изъ головы, что мой жемчугъ приноситъ слезы. Это не такой. Я тебѣ на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебѣ никакихъ предрасудковъ бояться нечего...

Такъ это и успокоилось, и брата съ Машенькой послѣ Крещенья перевѣчали, а на слѣдующій день мы съ женою поѣхали навѣстить молодыхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы застали ихъ вставшими и въ необыкновенно веселомъ расположеніи духа. Братъ самъ открылъ намъ двери помѣщенія, взятаго имъ для себя, ко дню свадьбы, въ гостиницѣ, встрѣтилъ насъ весь сіяя и покатываясь со смѣху.

Мнѣ это напомнило одинъ старый романъ, гдѣ новобрачный сошелъ съ ума отъ счастья, и это брату замѣтилъ, а онъ отвѣчаетъ:

— А что ты думаешь, вѣдь со, мило въ самомъ дѣлѣ произошелъ такой случай, что возможно своему уму не вѣрить. Семейная жизнь моя, начинаясь сегодняшнимъ

6267.

Библиотечка
С.-Петербургскаго
Университета
1456

днемъ, принесла мнѣ не только ожиданныя радости отъ моей милой жены, но также неожиданное благополучіе отъ тестя.

— Что же такое еще съ тобою случилось?

— А вотъ входите, я вамъ расскажу.

Жена мнѣ шепчетъ:

— Вѣрно старый негодяй ихъ надуль.

Я отвѣчаю:

— Это не мое дѣло.

Входимъ, а братъ подаетъ намъ открытое письмо, полученное на ихъ имя рано по городской почтѣ, и въ письмѣ читаемъ слѣдующее:

«Предразсудокъ насчетъ жемчуга ничѣмъ вамъ угрожать не можетъ: этотъ жемчугъ *фальшивый*».

Жена моя такъ и сѣла.

— Вотъ, говоритъ,—негодяй!

Но братъ ей показалъ головою въ ту сторону, гдѣ Машенька дѣлала въ спальнѣ свой туалетъ, и говоритъ:

— Ты неправъ: старикъ поступилъ очень честно. Я получилъ это письмо, прочелъ его и разсмѣялся... Что же мнѣ тутъ печальнаго? Я вѣдь приданаго не искалъ и не просилъ, я искалъ одну жену, стало-быть мнѣ никакого огорченія въ томъ нѣтъ, что жемчугъ въ ожерельѣ не настоящій, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоитъ не тридцать тысячъ, а просто триста рублей,—не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, какъ это сообщить Машѣ? Надъ этимъ я задумался и сѣлъ, оборотаясь лицомъ къ окну, а того не замѣтилъ, что дверь забылъ запереть. Черезъ нѣсколько минутъ оборачиваюсь и вдругъ вижу, что у меня за спиною стоитъ тещъ и держитъ что-то въ рукѣ въ платочкѣ.

— Здравствуй, говоритъ,—зятюшка!

Я вскочилъ, обнялъ его и говорю:

— Вотъ это мило! мы должны были къ вамъ черезъ часъ ѣхать, а вы сами... Это противъ всѣхъ обычаевъ... мило и дорого.

— Ну, что, отвѣчаетъ,—за счеты! Мы свои. Я былъ у обѣдни,—помолился за васъ и вотъ просвиру вамъ привезъ.

Я его опять обнялъ и поцѣловалъ.

— А ты письмо мое получилъ?—спрашиваетъ.

— Какъ же, говорю,—получилъ.

И я самъ разсмѣялся.

Онъ смотритъ.

— Чего же, говорить,—ты смѣнешся?

— А что же мнѣ дѣлать? Это очень забавно.

— Забавно?

— Да какъ же.

— А ты подай-ка мнѣ жемчугъ.

Ожерелье лежало тутъ же на столѣ въ футлярѣ, — я его и подаль.

— Есть у тебя увеличительное стекло?

Я говорю:—нѣтъ.

— Если такъ, то у меня есть. Я по старой привычкѣ всегда его при себѣ имѣю. Изволь смотрѣть на замокъ подъ собачку.

— Для чего мнѣ смотрѣть?

— Нѣтъ, ты посмотри. Ты, можетъ-быть, думаешь, что я тебя обмануль.

— Вовсе не думаю.

— Нѣтъ,—смотри, смотри!

Я взялъ стекло и вижу: на замкѣ, на самомъ скрытомъ мѣстѣ, микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильонъ».

— Убѣдился, говорить, — что это дѣйствительно жемчугъ *фальшивый*?

— Вижу.

— И что же ты мнѣ теперь скажешь?

— То же самое, что и прежде. То-есть: это до меня не касается, и васъ только буду объ одномъ просить...

— Проси, проси!

— Позвольте не говорить объ этомъ Машѣ.

— Это для чего?

— Такъ...

— Нѣтъ, въ какихъ именно цѣляхъ? Ты не хочешь ее огорчить?

— Да,—это между прочимъ.

— А еще что?

— А еще то, что я не хочу, чтобы въ ея сердцѣ хоть что-нибудь шевельнулось противъ отца.

— Противъ отца?

— Да.

— Ну, для отца она теперь уже отрѣзанный ломоть, который къ короваю не пристанетъ, а ей главное—мужъ...

— Никогда, говорю,—сердце не завзжій дворъ: въ немъ гѣсно не бываетъ. Къ отцу одна любовь, а къ мужу—другая, и кромѣ того... мужъ, который желаетъ быть счастливъ, обязанъ заботиться, чтобы онъ могъ уважать свою жену, а для этого онъ долженъ беречь ся любовь и почтеніе къ родителямъ.

— Ага! Вотъ ты какой практикъ!

И сталь молча пальцами по табуреткѣ барабанить, а потомъ всталъ и говоритъ:

— Я, любезный зять, наживалъ состояніе своими трудами, но очень разными средствами. Съ высокой точки зрѣнія они, можетъ-быть, не всё очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умѣлъ наживать иначе. Изъ людей я не очень вѣрю, и про любовь только въ романахъ слыхалъ, какъ читають, а на дѣлѣ я все видѣлъ, что всё денегъ хотять. Двумъ зятьямъ я денегъ не далъ, и вышло вѣрно: они на меня злы и женъ своихъ ко мнѣ не пускають. Не знаю, кто изъ насъ благороднѣе, — они или я? Я денегъ имъ не даю, а они живыя сердца портять. А я имъ денегъ не дамъ, а вотъ тебѣ возьму да и дамъ! Да! И вотъ, даже сейчасъ дамъ!—И вотъ извольте смотрѣть!

Братъ показалъ намъ три билета по пятидесяти тысячъ рублей.

— Неужели, говорю,—все это твоей женѣ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, — онъ Маншѣ далъ пятьдесятъ тысячъ, а я ему говорю:

— Знаете, Николай Ивановичъ, это будетъ щекотливо... Маншѣ будетъ неловко, что она получитъ отъ васъ приданое, а сестры ея — нѣтъ... Это непременно вызоветъ у сестеръ къ ней зависть и неприязнь... Нѣтъ, Богъ съ ними, — оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примиритъ васъ съ другими дочерьми, тогда вы дадите *всѣмъ* поровну. И вотъ тогда это принесетъ *всѣмъ* намъ радость... А однимъ намъ... *не надо!*

Онъ опять всталъ, опять прошелся по комнатѣ и, оставшись противъ двери спальни, крикнулъ:

— Марья!

Манша уже была въ пеньюарѣ и вышла.

— Поздравляю, говоритъ,—тебя.

Она поцѣловала его руку.

— А счастлива быть хочешь?

— Конечно, хочу, папа, и... надѣюсь.

— Хорошо... Ты себя, братъ, хорошаго мужа выбрала!

— Я, папа, не выбирала. Миѣ его Богъ далъ.

— Хорошо, хорошо. Богъ далъ, а я *придамъ*: я тебѣ хочу прибавить счастья. Вотъ три билета, все равные. Одинъ тебѣ, а два твоимъ сестрамъ. Раздай имъ сама — скажи, что *ты даришь*...

— Папа!

Мама бросилась ему сначала на шею, а потомъ вдругъ опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колѣна. Смотрю — и онъ заплакалъ.

— Встань, встань! говорить. — Ты нынче по народному слову «княгиня», — тебѣ неприлично въ землю миѣ кланяться.

— Но я такъ счастлива... за сестеръ!..

— То-то и есть... И я счастливъ!.. Теперь можешь видѣть, что нечего тебѣ было бояться жемчужнаго ожерелья. Я принесъ тебѣ тайну открытъ: подаренный мною тебѣ *жемчугъ фальшивый*, меня имъ давно сердечный пріятель надуть, — да вѣдь какой, — не простой, а слитый изъ Рюриковичей и Гедимновичей. А вотъ у тебя мужъ простой души, да *истинной*: такого надуть невозможно, — душа не стерпеть!

— Вотъ вамъ весь мой рассказъ, — заключилъ собесѣдникъ: — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхожденіе и на его невымышленность, онъ отвѣчаетъ и программѣ, и формѣ традиціоннаго святочнаго рассказа.

НЕРАЗМѢННЫЙ РУБЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Есть повѣрье, будто волшебными средствами можно получить неразмѣнный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько разъ его ни выдавай, онъ все-таки опять является цѣлымъ въ карманѣ. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпѣть большіе страхи. Всѣхъ ихъ я не помню, но знаю, что, между прочимъ, надо взять черную безъ одной отмѣтины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекрестокъ четырехъ дорогъ, изъ которыхъ притомъ одна непременно должна вести къ кладбищу.

Здѣсь надо стать, пожать кошку сильнѣе, такъ, чтобы она *замыкала*, и зажмурить глаза. Все это надо сдѣлать за нѣсколько минутъ передъ полночью, а въ самую полночь придетъ кто-то и станетъ торговать кошку. Покупщикъ будетъ давать за бѣднаго звѣрька очень много денегъ, но продавецъ долженъ требовать непременно только *рубль*, — ни больше, ни меньше какъ одинъ серебряный рубль. Покупщикъ будетъ навязывать болѣе, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконецъ, этотъ рубль будетъ данъ, тогда его надо положить въ карманъ и держать рукою, а самому уходить какъ можно скорѣе и не оглядываться. Этотъ рубль и есть неразмѣнный или безрасходный, — то-есть сколько ни отдавайте его въ уплату за что-нибудь, — онъ все-таки опять является въ карманѣ. Чтобы заплатить, напримѣръ, сто рублей, надо только сто разъ опустить руку въ карманъ и оттуда всякій разъ вынуть рубль.

Конечно, это повѣрье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны вѣрить, что неразмѣнные рубли дѣйствительно можно добывать. Когда я былъ маленькимъ мальчикомъ, и я тоже этому вѣрилъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разъ, во время моего дѣтства, няня, укладывая меня спать въ рождественскую ночь, сказала, что у насъ теперь на деревнѣ очень многіе не спятъ, а гадаютъ, рядятся, ворожатъ и, между прочимъ, добываютъ себѣ «неразмѣнный рубль». Она распространилась на тотъ счетъ, что людямъ, которые пошли добывать неразмѣнный рубль, теперь всѣхъ страннѣе, потому что они должны лицомъ къ лицу встрѣтиться съ дьяволомъ на далекомъ распутьѣ и торговаться съ нимъ за черную кошку; но зато ихъ ждутъ и самыя большія радости... Сколько можно накупить прекрасныхъ вещей за безпереводный рубль! Чтò бы и надѣлать, если бы мнѣ попался такой рубль! Мнѣ тогда было всего лѣтъ восемь, но я уже побывалъ въ своей жизни въ Орлѣ и въ Кромахъ и зналъ нѣкоторые превосходныя произведенія русскаго искусства, привозимыя купцами къ нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я зналъ, что на свѣтѣ бываютъ пряники желтые, съ патокою, и бѣлые пряники — съ мятой, бываютъ столбики и сосульки, бываетъ такое лакомство, которое называется «рѣзь», или ланша, или еще проще — «шмотья», бываютъ орѣхи простые и каленые; а для богатаго кармана привозятъ и изюмъ, и финики. Кромѣ того, я видалъ картины съ генералами и множество другихъ вещей, которыхъ я не могъ всѣхъ перекупить, потому что мнѣ давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не безпереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будетъ иначе, потому что безпереводный рубль есть у моей бабушки, и она рѣшила подарить его мнѣ, но только я долженъ быть очень остороженъ, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имѣетъ одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое?—спросилъ я.

— А это тебѣ скажетъ бабушка. Ты спи, а завтра, какъ проснешься, бабушка принесетъ тебѣ неразмѣнный рубль и скажетъ, какъ надо съ нимъ обращаться.

Оболенный этимъ обѣщаніемъ, я постарался заснуть въ ту же минуту, чтобы ожиданіе неразмѣннаго рубля не было томительно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пяня меня не обманула: ночь пролетѣла какъ краткое мгновеніе, котораго я и не замѣтилъ, и бабушка уже стояла надъ моею кроваткою въ своемъ большомъ чепцѣ съ рюшевыми мармотками и держала въ своихъ бѣлыхъ рукахъ новенькую, чистую серебряную монету, отбитую въ самомъ полномъ и превосходномъ калибрѣ.

— Ну, вотъ тебѣ безпереводный рубль,—сказала она. — Бери его и поѣзжай въ церковь. Послѣ обѣдни мы, старики, зайдемъ къ батюшкѣ, отцу Василию, пить чай, а ты одинъ, — совершенно одинъ, — можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты самъ захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустивъ руку въ карманъ и выдаль свой рубль, а онъ опять очутится въ твоёмъ же карманѣ.

— Да, говорю,—я уже все это знаю.

А самъ зажалъ рубль въ ладонь и держу его какъ можно крѣпче. А бабушка продолжаетъ:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство,—его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразмѣнный рубль не переведется въ твоёмъ карманѣ до тѣхъ поръ, пока ты будешь покупать на него вещи, тебѣ или другимъ людямъ нужныя или полезныя, но разъ что ты изведешь хоть одинъ грошъ на полную бесполезность—твой рубль въ то же мгновеніе исчезнетъ.

— О, говорю,—бабушка, я вамъ очень благодаренъ, что вы мнѣ это сказали; но повѣрьте, я ужъ не такъ малъ, чтобы не понять, что на свѣтѣ полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомнѣвается; но я ее увѣрилъ, что знаю, какъ надо жить при богатомъ положеніи.

— Прекрасно,—сказала бабушка:—но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебѣ сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду къ отцу Василию и принесу на заглядѣнье прекрасныя покупки, а рубль мой будетъ цѣль у меня въ карманѣ.

— Очень рада, — посмотримъ. Но ты все-таки не будь самонадѣянъ: помни, что отличить нужное отъ пустого и излишняго вовсе не такъ легко, какъ ты думаешь.

— Въ такомъ случаѣ не можете ли вы походить со мною по ярмаркѣ?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будетъ имѣть возможности дать мнѣ какой бы то ни было совѣтъ или остановить меня отъ увлеченія и ошибки, потому что тотъ, кто владѣетъ безпереводнымъ рублемъ, не можетъ ни отъ кого ожидать совѣтовъ, а долженъ руководиться своимъ умомъ.

— О, моя милая бабушка, — отвѣчалъ я: — вамъ и не будетъ надобности давать мнѣ совѣты, — я только взгляну на ваше лицо и прочитаю въ вашихъ глазахъ все, что мнѣ нужно.

— Въ такомъ разѣ идемъ, — и бабушка послала дѣвушку сказать отцу Василию, что она придетъ къ нему попозже, а пока мы отравились съ нею на ярмарку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Погода была хорошая, — умѣренный морозецъ съ маленькой влажностью; въ воздухѣ пахло крестьянской обѣлой онуцкою, лыкомъ, пшеномъ и овчиной. Народу много и все разодѣты въ томъ, что у кого есть лучшаго. Мальчишки изъ богатыхъ семей все получили отъ отцовъ на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняныхъ свистулекъ, на которыхъ задавали самыя бѣдовыйя концерты. Бѣдные ребятишки, которымъ грошей не давали, стояли подъ плетнемъ и только завистливо облизывались. Я видѣлъ, что имъ тоже хотѣлось бы овладѣть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всею душою въ общей гармоніи, и... я посмотрѣлъ на бабушку...

Глиняныя свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малѣйшаго порицанія моему намѣренію купить всемъ бѣднымъ дѣтямъ по свистулькѣ. Напротивъ, доброе лицо старушки выражало даже удовольствіе, которое я принялъ за одобреніе: я сейчасъ же опустил мою руку въ карманъ, досталъ оттуда мой неразмѣнный рубль и купилъ цѣлую коробку свистулекъ, да еще мнѣ подали съ него нѣсколько сдачи. Опуская сдачу въ карманъ, я ощутилъ рукою, что мой неразмѣнный рубль цѣлехонекъ и уже опять лежитъ тамъ, какъ было до покупки. А между тѣмъ все ребятишки получили по свистулькѣ, и самые бѣдные изъ нихъ вдругъ сдѣлались такъ же счастливы, какъ и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы съ бабушкой пошли дальше, и она мнѣ сказала:

— Ты поступилъ хорошо, потому что бѣднымъ дѣтямъ надо играть и рѣзвиться, и кто можетъ сдѣлать имъ какую-нибудь радость, тотъ напрасно не спѣшитъ воспользоваться своею возможностью. И въ доказательство, что я права, опусти еще разъ свою руку въ карманъ и попробуй, гдѣ твой неразмѣнный рубль?

Я опустилъ руку и... мой неразмѣнный рубль былъ въ моемъ карманѣ.

— Ага, — подумалъ я: — теперь я уже понялъ, въ чемъ дѣло, и могу дѣйствовать смѣлѣе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Я подошелъ къ лавочкѣ, гдѣ были ситцы и платки, и купилъ всѣмъ нашимъ дѣвушкамъ по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкамъ по малиновому головному платку; и каждый разъ, что я опускалъ руку въ карманъ, чтобы заплатить деньги, — мой неразмѣнный рубль все былъ на своемъ мѣстѣ. Потомъ я купилъ для ключницыной дочери, которая должна была выйти замужъ, двѣ сердоликовыя запонки и, признаться, сребръ; но бабушка попрежнему смотрѣла хорошо, и мой рубль послѣ этой покупки тоже преблагополучно оказался въ моемъ карманѣ.

— Невѣстѣ идетъ принарядиться, — сказала бабушка: — это памятный день въ жизни каждой дѣвушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, — отъ радости всякій человѣкъ бодрѣе выступаетъ на новый путь жизни, а отъ перваго шага много зависитъ. Ты сдѣлалъ очень хорошо, что обрадовалъ бѣдную невѣсту.

Потомъ я купилъ и себѣ очень много сластей и орѣховъ, а въ другой лавкѣ взялъ большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столѣ у нашей скотницы. Бѣдная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имѣла несчастіе придтись по вкусу племенному теленку, который жилъ въ одной избѣ со скотницею. Теленокъ по своему возрасту имѣлъ слишкомъ много свободного времени и занялся тѣмъ, что въ счастливый часъ досуга отжевалъ углы у всѣхъ листовъ «Псалтиря». Бѣдная старушка была лишена удовольствія читать и пѣть тѣ псалмы, въ которыхъ она находила для себя утѣшеніе, и очень объ этомъ скорбѣла.

Я былъ увѣренъ, что купить для нея новую книгу вмѣсто старой было не пустое и не излишнее дѣло, и это именно

такъ и было: когда я опустилъ руку въ карманъ—мой рубль былъ снова на своемъ мѣстѣ.

И сталъ покупать шире и больше,—я бралъ все, что, по моимъ соображеніямъ, было нужно, и накупилъ даже вещи слишкомъ рискованныя,—такъ, напримѣръ, нашему молодому кучеру Константину я купилъ наборный поясной ремень, а веселому бабичанику Егоркѣ — гармонію. Рубль, однако, все былъ дома, а на лицо бабушки я ужъ не смотрѣлъ и не допрашивалъ ее выразительныхъ взоровъ. Я самъ былъ центръ всего, — на меня всѣ смотрѣли, за мною всѣ шли, обо мнѣ говорили.

— Смотрите, каковъ нашъ барчукъ Миколаша! Онъ одинъ можетъ скупить цѣлую ярмарку, у него, знать, есть неразмѣнный рубль.

И я почувствовалъ въ себѣ что-то новое и до тѣхъ поръ незнакомое. Мнѣ хотѣлось, чтобы всѣ обо мнѣ знали, всѣ за мною ходили и всѣ обо мнѣ говорили — какъ я уменъ, богатъ и добръ.

Мнѣ стало безпокойно и скучно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

А въ это самое время, — откуда ни возьмись, — ко мнѣ подошелъ самый пузатый изъ всѣхъ ярмарочныхъ торговцевъ и, снявъ картузь, сталъ говорить:

— Я здѣсь всѣхъ толще и всѣхъ опытнѣе, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмаркѣ, потому что у васъ есть неразмѣнный рубль. Съ нимъ не штука удивлять весь приходъ, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этотъ рубль не можете купить.

— Да, если это будетъ вещь ненужная,—такъ я ее, разумѣется, не куплю.

— Какъ это «ненужная»? Я вамъ не сталъ бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите вниманіе на то, кто окружаетъ насъ съ вами, несмотря на то, что у васъ есть неразмѣнный рубль. Вотъ вы себѣ купили только сластей да орѣховъ, а то вы все покупали полезныя вещи для другихъ, но вонъ какъ эти другіе помнятъ ваши благодѣянія: васъ ужъ теперь всѣ позабыли.

Я посмотрѣлъ вокругъ себя и, къ крайнему моему удивленію, увидѣлъ, что мы съ пузатымъ кущомъ стоимъ, дѣйствительно, только вдвоемъ, а вокругъ насъ ровно ни-

кого нѣтъ. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыть, а вся ярмарка отвалила въ сторону и окружила какого-то длиннаго, сухого человѣка, у котораго поверхъ полушубка былъ надѣтъ длинный полосатый жилетъ, а на немъ нашиты стекловидныя пуговицы, отъ которыхъ, когда онъ поворачивался изъ стороны въ сторону, исходило слабое, тусклое блистаніе.

Это было все, чтò длинный, сухой человѣкъ имѣлъ въ себѣ привлекательнаго, и, однако, за нимъ всѣ шли и всѣ на него смотрѣли, какъ будто на самое замѣчательное произведеніе природы.

— Я ничего не вижу въ этомъ хорошаго, — сказалъ я моему новому спутнику.

— Пусть такъ, но вы должны видѣть, какъ это всеѣмъ нравится. Поглядите,—за нимъ ходятъ даже и вашъ кучеръ Константинъ съ его щегольскимъ ремнемъ, и башмачникъ Егорка съ его гармоніей, и невѣста съ запонками, и даже старая скотница съ ея новою книжкою. А о ребятишкахъ съ свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрѣлся, и въ самомъ дѣлѣ всѣ эти люди дѣйствительно окружали человѣка съ стекловидными пуговицами, и всѣ мальчишки на своихъ свистулькахъ пицали про его славу.

Во мнѣ зашевелилось чувство досады. Мнѣ показалось все это ужасно обидно, и я почувствовалъ долгъ и призваніе стать выше человѣка со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сдѣлаться больше его?

— Да, я это думаю,—отвѣчалъ пузанъ.

— Ну, такъ я же сейчасъ вамъ докажу, что вы ошибаетесь!—воскликнулъ я и, быстро подбѣжавъ къ человѣку въ жилетѣ поверхъ полушубка, сказалъ:

— Послушайте, не хотите ли вы продать мнѣ вашъ жилетъ?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Человѣкъ со стекляшками повернулся передъ солнцемъ, такъ что пуговицы на его жилетѣ издали тусклое блистаніе, и отвѣчалъ:

— Извольте, я вамъ его продамъ съ большимъ удовольствіемъ, но только это очень дорого стѣитъ.

— Прону васъ не безиокониться и скорѣе сказать мнѣ вашу цѣну за жилетъ.

Онъ очень лукаво улыбнулся и молвилъ:

— Однако, вы, я вижу, очень неопытны, какъ и слѣдуетъ быть въ вашемъ возрастѣ, — вы не понимаете, въ чемъ дѣло. Мой жилетъ ровно ничего не стоитъ, потому что онъ не свѣтитъ и не грѣетъ, и потому я его отдаю вамъ даромъ, но вы мнѣ заплатите по рублю за каждую нашитую на немъ стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не свѣтятъ и не грѣютъ, но онѣ могутъ немножко блестѣть на минутку, и это всѣмъ очень нравится.

— Прекрасно, — отвѣчалъ я: — я даю вамъ по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорѣй вашу жилетъ.

— Нѣтъ, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустилъ руку въ карманъ и досталъ оттуда одинъ рубль, потомъ снова опустилъ руку во второй разъ, но... карманъ мой былъ пустъ... Мой неразмѣнный рубль уже не возвратился... онъ пропалъ... онъ исчезъ... его не было, и на меня всѣ смотрѣли и смѣялись.

И горько заплакать и... проснулся...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, въ ея больномъ бѣломъ чепцѣ съ рюшевыми мармотками, и держала въ рукѣ новенькій серебряный рубль, составлявшій обыкновенный рождественскій подарокъ, который она мнѣ дарила.

И понялъ, что все видѣнное мною происходило не на-яву, а во снѣ, и посиѣнилъ рассказать, о чемъ я плакалъ.

— Что же, — сказала бабушка: — сонъ твой хорошъ, — особенно если ты захочешь понять его, какъ слѣдуетъ. Въ басняхъ и сказкахъ часто бываетъ сокрытъ особый затаенный смыслъ. *Неразмѣнный рубль* — по-моему, это талантъ, который Провидѣнiе даетъ человѣку при его рожденiи. Талантъ развивается и крѣпнетъ, когда человѣкъ сумѣетъ сохранить въ себѣ бодрость и силу на распутiи четырехъ дорогъ, изъ которыхъ съ одной всегда должно быть видно кладбище. *Неразмѣнный рубль* — это есть сила, которая можетъ служить истинѣ и добродѣтели, на пользу людямъ, въ чемъ для человѣка съ добрымъ сердцемъ и яснымъ умомъ заключается самое высшее удовольствiе. Все, что онъ сдѣлаетъ для истиннаго счастья своихъ ближнихъ, никогда не убавитъ его духовнаго богатства, а напротивъ —

чѣмъ онъ болѣе черпаетъ изъ своей души, тѣмъ она становится богаче. Человѣкъ въ жилеткѣ сверхъ теплаго полушубка—есть *суета*, потому что жилеть сверхъ полушубка *не нуженъ*, какъ не нужно и то, чтобы за нами ходили и насъ прославляли. Суета затемняетъ умъ. Сдѣлавши кое-что—очень немного въ сравненіи съ тѣмъ, что бы ты могъ еще сдѣлать, владѣя безрасходнымъ рублемъ, ты уже сталъ гордиться собою и отвернулся отъ меня, которая для тебя въ твоемъ снѣ изображала опытъ жизни. Ты началъ уже хлопотать не о добрѣ для другихъ, а о томъ, чтобы всѣ на тебя глядѣли и тебя хвалили. Ты захотѣлъ имѣть ни на что ненужныя стеклышки, и—рубль твой растаялъ. Этому такъ и слѣдовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получилъ такой урокъ во снѣ. Я очень бы желала, чтобы этотъ рождественскій сонъ у тебя остался въ памяти. А теперь поѣдемъ въ церковь и послѣ обѣдни купимъ все то, что ты покупалъ для бѣдныхъ людей въ твоемъ сновидѣніи.

— Кромѣ одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета съ стекловидными пуговицами.

— Нѣтъ, я не куплю также и лакомствъ, которыя я покупалъ во снѣ для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишилъ себя этого маленькаго удовольствія, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю...

И вдругъ мы съ нею оба обнялись и, ничего болѣе не говоря другъ другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотѣлъ *всѣ* мои маленькія деньги извести въ этотъ день *не для себя*. И когда это мною было сдѣлано, то сердце мое исполнилось такою радостію, какой я не испытывалъ до того еще ни одного раза. Въ этомъ лишеніи себя маленькихъ удовольствій для пользы другихъ я впервые испыталъ то, что люди называютъ увлекательнымъ словомъ— *полное счастье*, при которомъ ничего больше не хочешь.

Каждый можетъ испробовать сдѣлать въ своемъ нынѣшнемъ положеніи мой опытъ, и я увѣренъ, что очч. найдетъ въ словахъ моихъ не ложь, а истинную правду

З В Ъ Р Ъ .

«И звѣри внимаху святое слово .
Житіе старца Серафима.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отецъ мой былъ извѣстный въ свое время слѣдователь. Ему поручали много важныхъ дѣлъ и потому онъ часто отлучался отъ семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я—маленькій мальчикъ.

При томъ случаѣ, о которомъ я теперь хочу рассказать,—мнѣ было всего только пять лѣтъ.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такіе холода, что въ хлѣвахъ замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченѣлыя. Отецъ мой находился объ эту пору по служебнымъ обязанностямъ въ Ельцѣ и не общалъ пріѣхать домой даже къ Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама къ нему съѣздить, чтобы не оставить его одинокимъ въ этотъ прекрасный и радостный праздникъ. Меня, по случаю ужасныхъ холодовъ, мать не взяла съ собою въ дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моеи тетки, которая была замужемъ за однимъ орловскимъ помѣщикомъ, про котораго ходила невеселая слава. Онъ былъ очень богатъ, старъ и жестокъ. Въ характерѣ у него преобладали злобность и неумолимость, и онъ объ этомъ нимало не сожалѣлъ, а, напротивъ, даже щеголялъ этими качествами, которыя, по его мнѣнію, служили будто бы выраженіемъ мужественной силы и непрелюбной твердости духа.

Такое же мужество и твердость онъ стремился развить въ своихъ дѣтяхъ, изъ которыхъ одинъ сынъ былъ мнѣ ровесникъ.

Дядю боялись всѣ, а я всѣхъ болѣе, потому что онъ и во мнѣ хотѣлъ «развить мужество», и одинъ разъ, когда мнѣ было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, онъ выставилъ меня одного на балконъ и заперъ дверь, чтобы такимъ урокомъ отучить меня отъ страха во время грозы.

Понятно, что я въ домѣ такого хозяина гостилъ неохотно и съ немалымъ страхомъ, но мнѣ, повторяю, тогда было пять лѣтъ и мои желанія не принимались въ расчетъ при соображеніи обстоятельствъ, которымъ приходилось подчиняться.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ имѣніи дяди былъ огромный каменный домъ, похожій на замокъ. Это было претенціозное, но некрасивое и даже уродливое двухъэтажное зданіе съ круглымъ куполомъ и съ башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Тамъ когда-то жилъ сумасшедшій отецъ нынѣшняго помѣщика, потомъ въ его комнатахъ учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшнымъ; но всего ужаснѣе было то, что наверху этой башни, въ пустомъ, изогнутомъ окнѣ были натянуты струны, то-есть была устроена такъ-называемая «Золова арфа». Когда вѣтеръ пробѣгалъ по струнамъ этого своевольнаго инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившіе отъ тихаго густаго рокота въ безпокойные нестройные стоны и неистовый гулъ, какъ будто сквозь нихъ пролеталъ цѣлый сонмъ, пораженный страхомъ, гонимыхъ духовъ. Въ домѣ всѣ не любили эту арфу и думали, что она говоритъ что-то такое здѣшнему грозному господину, и онъ не смѣетъ ей возражать, но оттого становится еще немилосердѣе и жесточе... Было несомнѣнно примѣчено, что если ночью срывается буря и арфа на башнѣ гудитъ такъ, что звуки долетаютъ черезъ пруды и парки въ деревню, то баринъ въ ту ночь не спитъ и на утро встаетъ мрачный и суровый и отдастъ какое-нибудь жестокое приказаніе, приводившее въ трепетъ сердца всѣхъ его многочисленныхъ рабовъ.

Въ обычаяхъ дома было, что тамъ никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не измѣнялось, не только для человѣка, но даже и

для звѣря или какого-нибудь мелкаго животнаго. Дядя не хотѣлъ знать милосердія и не любилъ его, ибо почиталъ его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выне всякаго снисхожденія. Оттого въ домѣ и во всѣхъ обширныхъ деревьяхъ, принадлежащихъ этому богатому помѣщику, всегда царила безотрадная унылость, которую съ людьми раздѣляли и звѣри.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Покойный дядя былъ страстный любитель псовой охоты. Онъ ѣздилъ съ борзыми и травилъ волковъ, зайцевъ и лисицъ. Кромѣ того, въ его охотѣ были особенныя собаки, которыя брали медвѣдей. Этихъ собакъ называли «пьявками». Онѣ вшивались въ звѣря такъ, что ихъ нельзя было отъ него оторвать. Случалось, что медвѣдь, въ котораго вшивалась зубами пьявка, убивалъ ее ударомъ своей ужасной лапы или разрывалъ ее пополамъ, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала отъ звѣря живая.

Теперь, когда на медвѣдей охотятся только облавами или съ рогатиной, порода собакъ-пьявокъ, кажется, совсѣмъ уже перевелась въ Россіи; но въ то время, о которомъ я рассказываю, онѣ были почти при всякой хорошо собранной большой охотѣ. Медвѣдей въ нашей мѣстности тогда тоже было очень много и охота за ними составляла большое удовольствіе.

Когда случалось овладѣвать цѣлымъ медвѣжьимъ рѣздомъ, то изъ берлоги брали и привозили маленькихъ медвѣжатъ. Ихъ обыкновенно держали въ большомъ каменномъ сараѣ съ маленькими окнами, продѣланными подъ самой крышей. Окна эти были безъ стеколъ, съ одними толстыми желѣзными рѣшетками. Медвѣжата, бывало, до нихъ вскарабкивались другъ по другѣ и висѣли, держась за желѣзо своими цыкими, когтистыми лапами. Только такимъ образомъ они и могли выглядывать изъ своего заключенія на вольный свѣтъ Божій.

Когда насъ выводили гулять передъ обѣдомъ, мы больше всего любили ходить къ этому сараю и смотрѣть на выставлявшіяся изъ-за рѣшетокъ смѣшныя мордочки медвѣжатъ. Нѣмецкій гувернеръ Кольбергъ умѣлъ подавать имъ на концѣ палки кусочки хлѣба, которые мы принасли для этой цѣли за своимъ завтракомъ.

За медвѣдями смотрѣлъ и кормилъ ихъ молодой доѣзжачій, по имени Ферапонтъ; но, какъ это имя было трудно для простонароднаго выговора, то его произносили «Храпонъ» или, еще чаще, «Храпонка». Я его очень хорошо помню: Храпонка былъ средняго роста, очень ловкій, сильный и смѣлый паренъ лѣтъ двадцати пяти. Храпонъ считался красавцемъ, — онъ былъ блѣлъ, румялъ, съ черными кудрями и съ черными же большими глазами навыватъ. Къ тому же онъ былъ необычайно смѣлъ. У него была сестра Аинушка, которая состояла въ подиянцахъ, и она рассказывала намъ презанимательныя вещи про смѣлость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу съ медвѣдями, съ которыми онъ зимою и лѣтомъ спалъ вмѣстѣ въ ихъ сараѣ, такъ что они окружали его со всѣхъ сторонъ и клали на него свои головы, какъ на подушку.

Передъ домомъ дяди, за широкимъ круглымъ цвѣтникомъ, окруженнымъ расписною рѣшеткою, были широкія ворота, а противъ воротъ посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершинѣ этой мачты былъ прилаженъ маленькій помостикъ или, какъ его называли, «бесѣдочка».

Изъ числа плѣнныхъ медвѣжатъ всегда отбирали одного «умнаго», который представлялся наиболѣе смышленнымъ и благонадежнымъ по характеру. Такого отдѣляли отъ прочихъ собратій и онъ жилъ на волѣ, то-есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главнымъ образомъ онъ долженъ былъ содержать караульный постъ у столба передъ воротами. Тутъ онъ и проводилъ большую часть своего времени или лежа на соломѣ у самой мачты, или же взбирался по ней вверху до «бесѣдки» и здѣсь сидѣлъ или тоже спалъ, чтобы къ нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такую привольною жизнью могли не всѣ медвѣди, а только нѣкоторые, особенно умные и кроткіе, и то не во всю ихъ жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своихъ звѣрскихъ, неудобныхъ въ общежитіи наклонностей, то-есть пока они вели себя смиренно и не трогали ни куръ, ни гусей, ни телятъ, ни человѣка.

Медвѣдь, который нарушалъ спокойствіе жителей, немедленно же былъ осуждаемъ на смерть и отъ этого приговора его ничто не могло избавить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отбирать «смышленаго медвѣдя» долженъ былъ Храпонъ. Такъ какъ онъ больше всѣхъ обращался съ медвѣжатами и почитался большимъ знатокомъ ихъ природы, то понятно, что онъ одинъ и могъ это дѣлать. Храпонъ же и отвѣчалъ за то, если сдѣлаетъ неудачный выборъ, — но онъ съ перваго же раза выбралъ для этой роли удивительно способнаго и умнаго медвѣдя, которому было дано необыкновенное имя: медвѣдей въ Россіи вообще зовутъ «мишками», а этотъ носилъ испанскую кличку «Сганарель». Онъ уже пять лѣтъ прожилъ на свободѣ и не сдѣлалъ еще ни одной «шалости». Когда о медвѣдѣ говорили, что «онъ шалить», это значило, что онъ уже обнаружилъ свою звѣрскую природу какимъ-нибудь нападеніемъ.

Тогда «шалуна» сажали на нѣкоторое время въ «яму», которая была устроена на широкой полянѣ между гумномъ и лѣсомъ, а черезъ нѣкоторое время его выпускали (онъ самъ вылезалъ *по бревну*) на поляну и тутъ его травили «молодыми пъявками» (т. е. подростыми щенками медвѣжьихъ собакъ). Если же щенки не умѣли его взять и была опасность, что звѣрь уйдетъ въ лѣсъ, то тогда стоявшіе въ запасномъ «секретѣ» два лучшихъ охотника бросались на него съ отборными опытными сворами и тутъ дѣлу наваль конецъ.

Если же эти собаки были такъ неловки, что медвѣдь могъ прорваться «къ острову» (т. е. къ лѣсу), который соединялся съ обширнымъ брянскимъ полѣсьемъ, то выдвигался особый стрѣлокъ, съ длиннымъ и тяжелымъ кухепрейторовскимъ штуцеромъ и, прицѣпясь «съ сошки», посылалъ медвѣдю смертельную пулю.

Чтобы медвѣдь когда-либо ушелъ отъ всѣхъ этихъ опасностей, такого случая еще никогда не было, да странно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всѣхъ въ томъ виноватыхъ ждали бы смертоносныя наказанія.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Умъ и солидность Сганареля сдѣлали то, что описанной потѣхи или медвѣжьей казни не было уже цѣлыя пять лѣтъ. Въ это время Сганарель успѣлъ вырасти и сдѣлался большимъ, *матерымъ* медвѣдемъ, необыкновенной силы,

красоты и ловкости. Онъ отличался круглою, короткою мордою и довольно стройнымъ сложеніемъ, благодаря которому напоминалъ болѣе колоссальнаго грифона или пуделя, чѣмъ медвѣдя. Задъ у него былъ суховатъ и покрытъ невысокою, лоснищею шерстью, но плечи и загорбокъ были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умень Сганарель былъ тоже какъ пудель и зналъ нѣкоторые замѣчательные, для звѣря его породы, приемы: онъ, напримѣръ, отлично и легко ходилъ на двухъ заднихъ лапахъ, подвигаясь впередъ передомъ и задомъ, умѣлъ бить въ барабанъ, маршировать съ большою палкою, раскрашеною въ видѣ ружья, а также охотно и даже съ большимъ удовольствіемъ таскалъ съ мужиками самыя тяжелыя кули на мельницу и съ своеобразнымъ шикомъ преемѣнно надѣвалъ себѣ на голову высокую мужичью островерхую шляпу съ павлиньимъ перомъ или съ соломеннымъ пучкомъ въ родѣ султана.

Но пришла роковая пора — звѣрная натура взяла свое и надъ Сганарелемъ. Незадолго передъ моимъ прибытіемъ въ домъ дяди, тихій Сганарель вдругъ провинился сразу нѣсколькими винами, изъ которыхъ притомъ одна была другой тяжче.

Программа преступныхъ дѣйствій у Сганареля была та же самая, какъ и у всѣхъ прочихъ: для первоуценки онъ взялъ и оторвалъ крыло гусю; потомъ положилъ лапу на спину бѣжавшему за маткою жеребенку и переломилъ ему спину, а наконецъ: ему не понравились слѣпой старикъ и его поводырь, и Сганарель привился катать ихъ по снѣгу, при чемъ пооттопталъ имъ руки и ноги.

Слѣница съ его поводыремъ взяли въ больницу, а Сганарели велѣли Храпону отвести и посадить въ яму, откуда былъ только одинъ выходъ—на казнь...

Анна, раздѣвая вечеромъ меня и такого же маленькаго въ то время моего двоюроднаго брата, рассказала намъ, что при отводѣ Сганареля въ яму, въ которой онъ долженъ былъ ожидать смертной казни, произошли очень большія трогательности. Храпонъ не продергивалъ въ губу Сганареля «больнички» или кольца и не употреблялъ противъ него ни малѣйшаго насилія, а только сказалъ:

— Пойдемъ, звѣрь, со мною.

Медвѣдь всталъ и пошелъ, да еще чтò было смѣшно—

взялъ свою шляпу съ соломеннымъ султаномъ и всю дорогу до ямы шель съ Храпономъ обнявшись, точно два друга.

Они-таки и были друзья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Храпону было очень жаль Сганареля, но онъ ему ничѣмъ пособить не могъ. Напоминаю, что тамъ, гдѣ это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно долженъ былъ заплатить за свои увлеченія лютой смертью.

Травля его назначалась, какъ послѣобѣденное развлеченіе для гостей, которые обыкновенно съѣзжались къ дядѣ на Рождество. Приказъ объ этомъ былъ уже отданъ на охотѣ въ то же самое время, когда Храпону было велѣно отвести виновнаго Сганареля и посадить его въ яму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ яму медвѣдей сажали довольно просто. Люкъ или творило ямы обыкновенно закрывали легкимъ хворостомъ, накиданнымъ на хрупкія жерди, и посыпали эту покрывку сѣнгомъ. Это было маскировано такъ, что медвѣдь не могъ замѣтить устроенной ему предательской ловушки. Покорнаго звѣря подводили къ этому мѣсту и заставляли идти впередъ. Онъ дѣлалъ шагъ или два и неожиданно проваливался въ глубокую яму, изъ которой не было никакой возможности выйти. Медвѣдь сидѣлъ здѣсь до тѣхъ поръ, пока наступало время его травить. Тогда въ яму опускали въ наклонномъ положеніи длинное, аршинъ семи, бревно и медвѣдь вылѣзалъ по этому бревну наружу. Затѣмъ начиналась травля. Если же случалось, что смѣтливый звѣрь, предчувствуя бѣду, не хотѣлъ выходить, то его понуждали выходить, безпокою длинными шестами, на концѣ которыхъ были острые желѣзные наконечники, бросали зажженую солому или стрѣляли въ него холостыми зарядами изъ ружей и пистолетовъ.

Храпонъ отвелъ Сганареля и заключилъ его подъ арестъ по этому же самому способу, но самъ вернулся домой очень разстроенный и опечаленный. На свое несчастіе, онъ разсказалъ своей сестрѣ, какъ звѣрь шель съ нимъ «ласково» и какъ онъ, провалившись сквозь хворостъ въ яму, сѣлъ тамъ на дницѣ и, сложивъ переднія лапы, какъ руки, застоналъ, точно заплакалъ.

Хранонъ открылъ Аниѣ, что онъ бѣжалъ отъ этой ямы бѣгомъ, чтобы не слышать жалостныхъ стоновъ Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава Богу,—добавилъ онъ:—что не мнѣ, а другимъ людямъ вѣрно въ него стрѣлять, если онъ уходитъ стаить. А если бы мнѣ то было приказано, то я лучше бы самъ всякія мѣки принялъ, но въ него ни за что бы не выстрѣлилъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Анна рассказала это намъ, а мы рассказали гвернеру Кольбергу, а Кольбергъ, желая чѣмъ-нибудь позанять дядю, передалъ ему. Тотъ это выслушалъ и сказалъ: «Молодецъ Храношка», а потомъ хлопнулъ три раза въ ладоши.

Это значило, что дядя требуетъ къ себѣ своего камердинера Устина Петровича, старичка изъ плѣнныхъ французъ двѣнадцатаго года.

Устинъ Петровичъ, иначе Юстинъ, явился въ своемъ чистенькомъ лиловомъ фракѣ съ серебряными пуговицами, и дядя отдалъ ему приказаніе, чтобы къ завтрашней «садкѣ» или охотѣ на Сганареля стрѣлками въ секретяхъ были посажены Флегонтъ—извѣстнѣйшій стрѣлокъ, который всегда билъ безъ промаха, а другой Храношка. Дядя, очевидно, хотѣлъ позабавиться надъ затруднительною борьбою чувствъ бѣднаго царя. Если же онъ не выстрѣлитъ въ Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьетъ вторымъ выстрѣломъ Флегонтъ, который никогда не даетъ промаха.

Устинъ поклонился и ушелъ передавать приказаніе, а мы, дѣти, сообразили, что мы надѣлали бѣды и что во всемъ этомъ есть что-то ужасно тяжелое, такъ что, Богъ знаетъ, какъ это и кончится. Послѣ этого намъ не занимали по достоинству ни вкусный рождественскій ужинъ, который справлялся «три звѣздѣ», за одинъ разъ съ обѣдомъ, ни пріѣхавшіе на почъ гости, изъ коихъ съ нѣкоторыми были и дѣти.

Намъ было жаль Сганареля, жаль и Феранонта, и мы даже не могли себѣ рѣшить, кого изъ нихъ двухъ мы больше жалѣемъ.

Оба мы, то-есть я и мой ровесникъ—двоюродный братъ,

долго ворочались въ своихъ кроваткахъ. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что намъ обоимъ представлялся медвѣдь. А когда няня насъ успокоивала, что медвѣдя бояться уже нечего, потому что онъ теперь сидитъ въ ямѣ, а завтра его убьютъ, то мною овладѣвала еще большая тревога.

Я даже просилъ у няни вразумленія: нельзя ли мнѣ помолиться за Сганареля? Но такой вопросъ былъ выше религиозныхъ соображеній старушки, и она, позѣвывая и крестя ротъ рукою, отвѣчала, что навѣрно она объ этомъ ничего не знаетъ, такъ какъ ни разу о томъ у священника не спрашивала, но что, однако, медвѣдь — тоже Божіе созданіе и онъ плавалъ съ Ноемъ въ ковчегѣ.

Мнѣ показалось, что напоминаніе о плаваньи въ ковчегѣ вело какъ будто къ тому, что безпредѣльное милосердіе Божіе можетъ быть распространено не на однихъ людей, а также и на прочія Божья созданія, и я, съ дѣтскою вѣрою, сталъ въ моей кроваткѣ на колѣни и, прижавъ лицомъ къ подушкѣ, просилъ величіе Божіе не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Наступилъ день Рождества. Всѣ мы были одѣты въ праздничномъ и вышли съ гувернерами и бошнями къ чаю. Въ залѣ, кромѣ множества родныхъ и гостей, стояло духовенство: священникъ, дьяконъ и два дьячка.

Когда вошелъ дядя, причтъ заплѣлъ «Христосъ рождается». Потомъ былъ чай, потомъ, вскорѣ же, маленькій завтракъ и въ два часа ранній праздничный обѣдъ. Тотчасъ же послѣ обѣда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что въ эту пору рано темнѣетъ, а въ темнотѣ травля невозможна и медвѣдь легко можетъ скрыться изъ вида.

Исполнилось все такъ, какъ было назначено. Насъ прямо изъ-за стола повели одѣвать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надѣли наши заячьи шубки и лохматые, съ круглыми подошвами, сапоги, вязаные изъ козьей шерсти, и повели усаживать въ сани. А у подъѣздовъ съ той и съ другой стороны дома уже стояло множество длинныхъ фольшихъ троечныхъ саней, покрытыхъ узорчатыми коврами, и тутъ же два стреминныхъ держали подѣ-узды

дядину верховую англійскую рыжую лошадь, по имени Щеголиху.

Дядя вышелъ въ лѣсѣмъ архалукѣ и въ лѣсѣей остро-конечной шапкѣ, и какъ только онъ сѣлъ на сѣдло, покрытое черною медвѣжьей шкурою съ пахвами и паперсиями, убранными бирюзой и «змѣиными головками», весь нашъ огромный поѣздъ тронулся, а черезъ десять или пятнадцать минутъ мы уже прѣѣхали на мѣсто травли и выстроились полукругомъ. Всѣ сапи были расположены полуоборотомъ къ обширному, ровному, покрытому снѣгомъ полю, которое было окружено цѣпью верховыхъ охотниковъ и вдали замыкалось лѣсомъ.

У самаго лѣса были сдѣланы секреты или тайники за кустами, и тамъ должны были находиться Флегонтъ и Храпонка.

Тайниковъ этихъ не было видно и нѣкоторые указывали только на едва замѣтныя «сопки», съ которыхъ одинъ изъ стрѣлковъ долженъ былъ прицѣлиться и выстрѣлить въ Сганареля.

Яма, гдѣ сидѣлъ медвѣдь, тоже была незамѣтна и мы поневолѣ разсматривали красныхъ вершинниковъ, у которыхъ за плечомъ было разнообразное, но красивое вооруженіе: были шведскіе Штрабусы, пѣмецкіе Моргенрагы, англійскіе Мортимеры и варшавскіе Колеты.

Дядя стоялъ верхомъ впереди цѣпи. Ему подали въ руки свору отъ двухъ сомкнутыхъ злѣйшихъ «пьявокъ», а передъ нимъ положили у орчака на вальтрапъ бѣлый платокъ.

Молодые собаки, для практики которыхъ осужденъ былъ умереть провинившійся Сганарель, были въ огромномъ числѣ и всѣ вели себя крайне самонадѣянно, обнаруживая нѣлкое нетерпѣніе и недостатокъ выдержки. Онѣ визжали, лаiali, прыгали и путались на сворахъ вокругъ коней, на которыхъ сидѣли одѣтые въ форменное платье доѣзжачіе, а тѣ безпрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодыхъ, непомнившихъ себя отъ нетерпѣнія псовъ къ повиновенію. Все это кинѣло желаніемъ броситься на звѣря, близкое присутствіе котораго собаки, конечно, открыли своимъ острымъ, природнымъ чутьемъ.

Настало время вынуть Сганареля изъ ямы и пустить его на растерзаніе!

Дядя махнулъ положеннымъ на его вальтрапъ бѣлымъ платкомъ и сказалъ: «Дѣлай!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Изъ кучки охотниковъ, составившихъ главный штабъ дяди, выдѣлилось человекъ десять и пошли впередъ черезъ поле.

Отойдя шаговъ двѣсти, они остановились и начали поднимать изъ снѣга длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры намъ издалика нельзя было видѣть.

Это происходило какъ разъ у самой ямы, гдѣ сидѣлъ Станарель, но она тоже съ нашей далекой позиціи была незамѣтна.

Дерево подняли и сейчасъ же спустили однимъ концомъ въ яму. Оно было снущено съ такимъ пологимъ уклономъ, что звѣрь безъ затрудненія могъ выйти по нему, какъ по лѣстницѣ.

Другой конецъ бревна опирался на край ямы и торчалъ изъ нея на аршинъ.

Всѣ глаза были устремлены на эту предварительную операцію, которая приближала къ самому любопытному моменту. Ожидали, что Станарель сейчасъ же долженъ былъ показаться наружу; но онъ, очевидно, понималъ въ чемъ дѣло и ни за что не шель.

Началось гонянье его въ ямѣ снѣжными комьями и шестами съ острыми наконечниками, послышался ревъ, но звѣрь не шель изъ ямы. Раздалось нѣсколько холостыхъ выстрѣловъ, направленныхъ прямо въ яму, но Станарель только сердитѣе зарычалъ, а все-таки попрежнему не показывался.

Тогда откуда-то изъ-за цѣпи вскачь подлетѣли запряженные въ одну лошадь простые навозныя дровни, на которыхъ лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, изъ тѣхъ, которыхъ употребляли на воркѣ для подвоза корма съ гуменика, но, несмотря на свою старость и худобу, она летѣла, поднявши хвостъ и напоторцивъ гриву. Трудно, однако, было опредѣлить: была ли ея теперешняя бодрость остаткомъ прежней молодой удали, или это скорѣе было порожденіе страха и отчаянія, внушаемыхъ старому коню близкимъ присутствіемъ медвѣдя? Повидному, послѣднее имѣло болѣе вѣроятія, потому что лошадь была взнуздана, кромѣ желѣзныхъ удилъ, еще острою бечевкою, которою и были уже въ кровь истерзаны ея посфрѣвшія губы. Она и неслась и металась въ стороны такъ отчаянно, что управляв-

пій ею конюхъ въ одно и то же время дралъ ей сверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегалъ ее толстою пагайкою.

Но, какъ бы тамъ ни было, солома была раздѣлена на три кучи, разомъ зажжена и разомъ же съ трехъ сторонъ скинута, зажжена, въ яму. Въ пламени остался только одинъ тотъ край, къ которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бѣшеный ревъ, какъ бы смѣшанный вмѣстѣ со стономъ, но... медвѣдь оиять-таки не показывался...

До нашей цѣпи долетѣлъ слухъ, что Сганарель весь «опалился», и что онъ закрылъ глаза лапами и легъ выловную въ уголь къ землѣ, такъ что «его не стронуть».

Ворковая лошадь, съ разрѣзанными губами, понеслась оиять вскачь назадъ... Всѣ думали, что это была посылка за новымъ привозомъ соломы. Между зрителями послышался укоризненный говоръ: зачѣмъ распорядители охоты не подумали ранѣе припасти столько соломы, чтобы она была здѣсь съ излишкомъ. Дядя сердился и кричалъ что-то такое, чего я не могъ разобрать за всею поднявшеюся въ это время у людей суетою и еще болѣе усилившимся визгомъ собакъ и хлопаньемъ арапниковъ.

Но во всемъ этомъ видѣлось настроеніе и былъ, однако, свой ладъ, и ворковая лошадь уже оиять, метаясь и храпя, неслась назадъ къ ямѣ, гдѣ залегъ Сганарель, но не съ соломою: на дровняхъ теперь сидѣлъ Феранонтъ.

Гнѣвное распоряженіе дяди заключалось въ томъ, чтобы Храпошку спустили въ яму и чтобы онъ *самъ вывелъ* отсюда своего друга на травлю...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

И вотъ, Феранонтъ былъ на мѣстѣ. Онъ казался очень взволнованнымъ, но дѣйствовалъ твердо и рѣшительно. Немало не сопротивляясь барскому приказу, онъ взялъ съ дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назадъ солома, и привязалъ эту веревку однимъ концомъ около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Феранонтъ взялъ въ руки и, держась за нее, сталъ спускаться по бревну, на ногахъ, въ яму...

Страшный ревъ Сганареля утихъ и замѣнился глухимъ ворчаніемъ.

Звѣрь какъ бы жаловался своему другу на жестокое обхожденіе съ нимъ со стороны людей; но вотъ и это ворчаніе смѣнилось совершенной тишиной.

— Обнимаетъ и лижетъ Храпошку! — крикнулъ одинъ изъ людей, стоявшихъ надъ ямой.

Изъ публики, размѣщавшейся въ санихъ, нѣсколько человѣкъ вздохнули, другіе поморщились.

Многимъ становилось жалко медвѣдя и трагья его, очевидно, не общала имъ большого удовольствія. Но описанія мимолетныя впечатлѣнія внезапно были прерваны новымъ событіемъ, которое было еще неожиданнѣе и заключало въ себѣ новую трогательность.

Изъ творила ямы, какъ бы изъ преисподней, показалась курчавая голова Храпошки въ охотничьей круглой шапкѣ. Онъ взбирался наверхъ опять тѣмъ же самымъ способомъ, какъ и спускался, то-есть Феранонтъ шель на ногахъ по бревну, притягивая себя кверху крѣпко завязанной концомъ наружи веревки. Но Феранонтъ выходилъ *не одинъ*: рядомъ съ нимъ, крѣпко съ нимъ обнявшись и положивъ ему на плечо большую косматую лапу, выходилъ и Станарель... Медвѣдь былъ не въ духѣ и не въ авантажномъ видѣ. Пострадавшій и изнуренный, повидимому, не столько отъ тѣлеснаго страданія, сколько отъ тяжкаго моральнаго потрясенія, онъ сильно воспоминалъ короля Лира. Онъ сверкалъ исподлобья налитыми кровью и полными гнѣва и негодованія глазами. Такъ же, какъ Лиръ, онъ былъ и взъерошенъ, и мѣстами оналенъ, а мѣстами къ нему пристали будылья соломы. Вдобавокъ же, какъ тотъ несчастный вѣнце-посецъ, Станарель, по удивительному случаю, сберечь себѣ и нѣчто въ родѣ вѣнца. Можетъ-быть, любя Феранонта, а можетъ-быть случайно, онъ зажалъ у себя подъ мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдилъ и съ которою онъ же поневолѣ столкнулъ Станарели въ яму. Медвѣдь сберечь этотъ дружескій даръ, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоеніе въ объятіяхъ друга, онъ, какъ только сталъ на землю, сейчасъ же вынулъ изъ-подъ мышки жестокую измятую шляпу и положилъ ее себѣ на макушку...

Эта выходка многихъ насмѣшила, а другимъ зато мучительно было ее видѣть. Шныо даже посмѣшили отвернуться отъ звѣря, которому сейчасъ же должна была послѣдовать злая кончина.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Тѣмъ временемъ какъ все это происходило, пси взвѣли и взметались до потери всякаго повиновенія. Даже арапникъ не оказывалъ на нихъ болѣе своего внушающаго дѣйствія. Щенки и старыя пьявки, увидя Сганареля, поднялись на заднія лапы и, сипло воя и храпя, задыхались въ своихъ сыромитныхъ ошейникахъ; а въ это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковомъ одрѣ къ своему секрету подъ лѣсомъ. Сганарель опять остался одинъ и нетерпѣливо дергалъ лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрѣпленная къ бревну. Звѣрь, очевидно, хотѣлъ скорѣе ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медвѣдя, хоть и очень смѣшленнаго, ловкость все-таки была медвѣжья, и Сганарель не распускалъ, а только сильнѣе затягивалъ петлю на лапѣ.

Видя, что дѣло не идетъ такъ, какъ ему хотѣлось, Сганарель дернулъ веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крѣпка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя въ ямѣ. Онъ на это оглянулся; а въ то самое мгновеніе двѣ пущенныхъ изъ стаи со своры пьявки достигли его и одна изъ нихъ со всего налега впиалась ему острыми зубами въ загорбокъ.

Сганарель такъ былъ занятъ съ веревкой, что не ожидалъ этого и въ первое мгновеніе какъ будто не столько разсердился, сколько удивился такой наглости; но потомъ, черезъ полсекунды, когда пьявка хотѣла перехватить зубами, чтобы впитъся еще глубже, онъ рванулъ ее лапою и бросилъ отъ себя очень далеко и съ разорваннымъ брюхомъ. На окровавленный снѣгъ тутъ же выпали ея внутренности, а другая собака была въ то же мгновеніе раздавлена подъ его задней лапой... Но что было всего страшнѣе и всего неожиданнѣе, это то, что случилось съ бревномъ. Когда Сганарель сдѣлалъ усиленное движеніе лапою, чтобы отбросить отъ себя вившуюся въ него пьявку, онъ тѣмъ же самымъ движеніемъ ырвалъ изъ ямы крѣпко привязанное къ веревкѣ бревно, и оно полетѣло пластомъ въ воздухъ. Натянувъ веревку, оно закружило вокругъ Сганареля, какъ около своей оси и чертя однимъ концомъ по снѣгу, на первомъ же оборотѣ разможило и положило на мѣстѣ не двухъ и не трехъ, а цѣлую стаю поспѣвавшихъ

собакъ. Однѣ изъ нихъ взвизгнули и копошились изъ свѣга лашками, а другія, какъ кувырнулись, такъ и вытянулись.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Звѣрь или былъ слишкомъ понятливъ, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось въ его обладаніи оружіе, или веревка, охватившая его лапу, болью ее рѣзала, но онъ только взревѣлъ и сразу, перехвативъ веревку въ самую лапу, еще такъ наподдалъ бревно, что оно поднялось и вытянулось въ одну горизонтальную линію съ направлениемъ лапы, державшей веревку, и загудѣло, какъ могъ гудѣть сильно пущенный колоссальный волчокъ. Все, что могло попасть подъ него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка гдѣ-нибудь, въ какомъ-нибудь пунктѣ своего протяженія оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетѣвшееся въ центробѣжномъ направленіи бревно, оторвавшись, полетѣло бы вдаль, Богъ вѣсть до какихъ далекихъ предѣловъ, и на этомъ полетѣ непременно сокрушитъ все живое, что оно можетъ встрѣтить.

Всѣ мы — люди, всѣ лошади и собаки, на всей линіи и цѣпи, были въ страшной опасности и всякій, конечно, желалъ, чтобы для сохраненія его жизни, веревка, на которой вертѣлъ свою колоссальную пращу Сганарель, была крѣпка. Но какой, однако, все это могло имѣть конецъ? Этого, впрочемъ, не пожелалъ дожидаться никто, кромѣ нѣсколькихъ охотниковъ и двухъ стрѣлковъ, посаженныхъ въ секретныхъ ямахъ у самаго лѣса. Вся остальная публика, то-есть всѣ гости и семейные дяди, пріѣхавшіе на эту потѣху въ качествѣ зрителей, не находили болѣе въ случившемся ни малѣйшей потѣхи. Всѣ въ перенугъ велѣли кучерамъ какъ можно скорѣе скакать далѣе отъ опаснаго мѣста, и въ странномъ безпорядкѣ, тѣсня и перегоняя другъ друга, помчались къ дому.

Въ снѣжномъ и безпорядочномъ бѣгствѣ по дорогѣ было нѣсколько столкновеній, нѣсколько паденій, немного смѣха и не мало перенуговъ. Выпавшимъ изъ саней казалось, что бревно оторвалось отъ веревки и свиститъ, пролетая надъ ихъ головами, а за ними гонится разсвирѣпѣвшій звѣрь.

Но гости, достигши дома, могли придти въ покой и оправиться, а тѣ немногіе, которые остались на мѣстѣ травли, видѣли нѣчто, гораздо болѣе страшное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Никакихъ собакъ нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшномъ вооруженіи бревномъ, онъ могъ побѣдить все великое множество псовъ безъ малѣйшаго для себя вреда. А медвѣдь, вертя свое бревно и самъ за нимъ поворачиваясь, прямо подавался къ лѣсу и смерть его ожидала только здѣсь, у секрета, въ которомъ сидѣли Феранонтъ и безъ промаха стрѣлявшій Флегонтъ.

Мѣткая пуля все могла кончить смѣло и вѣрно.

Но рокъ удивительно покровительствовалъ Сганарелю и, разъ вмѣшавшись въ дѣло звѣря, какъ будто хотѣлъ спасти его во что бы то ни стало.

Въ ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся съ привалами, изъ-за которыхъ торчали на сонкахъ наведенныя на него дула кухенрейтеровскихъ штуцеровъ Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... какъ пущенная изъ лука стрѣла, стрекнуло въ одну сторону, а медвѣдь, потерявъ равновѣсіе, упалъ и покатился кубаремъ въ другую.

Передъ оставшимися на полѣ вдругъ сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сонки и весь заметъ, за которымъ скрывался въ секретѣ Флегонтъ, а потомъ, перескочивъ черезъ него, оно ткнулось и закончилось другимъ концомъ въ дальнемъ сугробѣ; Сганарель тоже не терялъ времени. Перекувырнувшись три или четыре раза, онъ прямо попалъ за свѣжій валикъ Храпошки...

Сганарель его моментально узналъ, дохнулъ на него своей горячей пастью, хотѣлъ лизнуть языкомъ, но вдругъ съ другой стороны, отъ Флегонта крикнулъ выстрѣлъ и... медвѣдь убѣжалъ въ лѣсъ, а Храпошка... упалъ безъ чувствъ.

Его подняли и осмотрѣли: онъ былъ раненъ пулею въ руку навывлетъ, но въ ранѣ его было также нѣсколько медвѣжьей шерсти.

Флегонтъ не потерялъ званія перваго стрѣлка, но онъ стрѣлялъ впопыхахъ изъ тяжелаго штуцера и безъ сонекъ, съ которыхъ могъ бы прицѣлиться. Притомъ же на дворѣ уже было сѣро и медвѣдь съ Храпошкою были слишкомъ тѣсно скучены...

При такихъ условіяхъ и этотъ выстрѣлъ съ промахомъ на одну линію должно было считать въ своемъ родѣ замѣчательнымъ.

Тѣмъ не менѣе—*Сганарель, ушелъ*. Погопя за нимъ по лѣсу въ этотъ же самый вечеръ была невозможна; а до слѣдующаго утра въ умѣ того, чья воля была здѣсь для всѣхъ закономъ, просіяло совсѣмъ иное настроеніе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Дядя вернулся послѣ околчанія описанной неудачной охоты. Онъ былъ гнѣвенъ и суровъ болѣе, чѣмъ обыкновенно. Передъ тѣмъ, какъ сойти у крыльца съ лошади, онъ отдалъ приказъ—завтра чѣмъ-свѣтъ искать слѣдовъ звѣря и обложитъ его такъ, чтобы онъ не могъ скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсѣмъ другіе результаты.

Затѣмъ ждали распоряженія о раненомъ Храпошкѣ. По мнѣнію всѣхъ, его должно было постигнуть нѣчто страшное. Онъ, по мепьшей мѣрѣ, былъ виноватъ въ той оплошности, что не всадилъ охотничьяго ножа въ грудь Сганареля, когда тотъ очутился съ нимъ вмѣстѣ и оставилъ его нисколько не поврежденнымъ въ его объятіяхъ. Но, кромѣ того, были сильныя и, кажется, вполне основательныя подозрѣнія, что Храпошка схитрилъ, что онъ въ роковую минуту умышленно не хотѣлъ поднять своей руки на своего косматаго друга и пустилъ его на волю.

Всѣмъ извѣстная взаимная дружба Храпошки съ Сганарелемъ давала этому предположенію много вѣроятности.

Такъ думали не только всѣ участвовавшіе въ охотѣ, но такъ же точно толковали теперь и всѣ гости.

Прислушиваясь къ разговорамъ взрослыхъ, которые собрались къ вечеру въ большой залѣ, гдѣ въ это время для насъ зажигали богато-убранную елку, мы раздѣляли и общія подозрѣнія и общій страхъ предъ тѣмъ, что можетъ ждать Феранонта.

На первый разъ, однако, изъ передней, черезъ которую дядя прошелъ съ крыльца къ себѣ «на половину», до залы достигъ слухъ, что о Храпошкѣ не было никакого приказанія.

— Къ лучшему это, однако, или нѣтъ?—прошепталъ кто-то, и шопотъ это среди общей тяжелой унылости толкнулся въ каждое сердце.

Его услыхалъ и отецъ Алексѣй, старый сельскій священникъ съ бронзовымъ крестомъ двѣнадцатаго года. Старикъ тоже вздохнулъ и такимъ же шопотомъ сказалъ:

— Молитесь рожденному Христу.

Съ этимъ онъ самъ и всѣ сколько здѣсь было взрослыхъ и дѣтей, баръ и холопей, всѣ мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успѣли мы опустить наши руки, какъ широко растворились двери и вошелъ, съ палочкой въ рукѣ, дядя. Его сопровождали двѣ его любимыя борзья собаки и камердинеръ Жюстинъ. Послѣдній несъ за нимъ на серебряной тарелкѣ его бѣлый фуляръ и круглую табакерку съ портретомъ Павла Перваго.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшомъ персидскомъ коврѣ передъ елкою, посреди комнаты. Онъ молча сѣлъ въ это кресло и молча же взялъ у Жюстина свой фуляръ и свою табакерку. У ногъ его тотчасъ легли и вытинули свои длинныя морды обѣ собаки.

Дядя былъ въ сивомъ шелковомъ архалукѣ съ вышитыми гладью застѣжками, богато украшенными бѣлыми филиграневыми пряжками съ крупною бирюзой. Въ рукахъ у него была его тонкая, но крѣпкая палка изъ натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садкѣ, отменно выѣзженная Щеголиха тоже не сохранила безстрашія—она метнулась въ сторону и больно прижала къ дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовалъ сильную боль въ этой ногѣ и даже немножко похрамывалъ.

Это новое обстоятельство, разумѣется, тоже не могло прибавить ничего добраго въ его раздраженное и гнѣвливое сердце. Пригомъ, было дурно и то, что при появленіи дяди мы всѣ замолчали. Какъ большинство подозрительныхъ людей, онъ терпѣть не могъ этого, и хорошо его знавшій отецъ Алексѣй поторопился, какъ умѣлъ, поправить дѣло, чтобы только нарушить эту зловѣщую тишину.

Имѣя нашъ дѣтскій кругъ близъ себя, священникъ задалъ намъ вопросъ: понимаемъ ли мы смыслъ иѣсни «Христосъ рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшіе плохо ее разумѣли. Священникъ сталъ намъ разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возносите», и дойдя до значенія этого послѣдняго слова, самъ тихо «вознесся»

и умомъ, и сердцемъ. Онъ заговорилъ о *дарѣ*, который и нынче, какъ и «во время оно», всякій бѣднякъ можетъ поднести къ яслямъ «рожденнаго Отроча», смѣлѣе и достойнѣе, чѣмъ поднесли золото, смирену и ливанъ волхвы древности. Даръ нашъ,—наше сердце исправленное по Его ученію. Старикъ говорилъ о любви, о прощеньи, о долгѣ каждаго утѣшить друга и недруга «во имя Христова»... И думается мнѣ, что слово его въ тотъ часъ было убѣдительно... Всѣ мы понимали, къ чему оно клонить, всѣ его слушали съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы моляся, чтобы это слово достигло до цѣли, и у многихъ изъ насъ на рѣсницахъ дрожали хорошія слезы...

Вдругъ что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но онъ до нея не коснулся: онъ сидѣлъ, склонясь на бокъ, съ опущенною съ кресла рукою, въ которой, какъ позабытая, лежала большая бирюза отъ застежки... Но вотъ онъ уронилъ и ее, и... ее никто не смѣшилъ поднимать.

Всѣ глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *онъ плакалъ!*

Священникъ тихо раздвинулъ дѣтей и, подойдя къ дядѣ, молча благословилъ его рукою.

Тотъ поднималъ лицо, взявъ старика за руку и неожиданно поцѣловалъ ее передъ всѣми и тихо молвилъ:

— Спасибо.

Въ ту же минуту онъ взглянулъ на Жюстина и велѣлъ позвать сюда Феранонта.

Тотъ предсталъ блѣдный, съ подвязанной рукою.

— Стань здѣсь!—велѣлъ ему дядя и показалъ рукою на коверъ.

Храпошка подошелъ и упалъ на колѣни.

— Встань... поднимись!—сказалъ дядя.—Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему въ ноги. Дядя заговорилъ нервнымъ, взволнованнымъ голосомъ:

— Ты любилъ звѣря, какъ не всякій умѣетъ любить человѣка. Ты меня этимъ тронулъ и превзошелъ меня въ великодушїи. Объявляю тебѣ отъ меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди, куда хочешь.

— Благодарю, и никуда не пойду,—воскликнулъ Храпошка.

— Что?

— Никуда не пойду,—повторилъ Феранонтъ.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вамъ вольной волей служить честнѣй, чѣмъ за страхъ поневоли.

Дяди моргнулъ глазами, приложилъ къ нимъ одною рукою свой бѣлый фуляръ, а другою, нагнувшись, обнялъ Феранонта и... всѣ мы поняли, что намъ надо встать съ мѣсть, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здѣсь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухалъ миръ во имя Христова, на мѣсть суроваго страха.

Это отразилось и на деревнѣ, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры и было веселье во всѣхъ, и, шутя, говорили другъ другу:

— У насъ новѣ такъ стало, что и звѣрь пошелъ во святой тишинѣ Христа славить.

Стапареля не отыскивали. Феранонтъ, какъ ему сказано было, сдѣлался вольнымъ, скоро замѣнилъ при дядѣ Юстина и былъ не только вѣрнымъ его слугою, но и вѣрнымъ его другомъ до самой его смерти. Онъ закрылъ своими руками глаза дяди и онъ же схоронилъ его въ Москвѣ на Ваганьковскомъ кладбищѣ, гдѣ и по сю-пору цѣль его памятникъ. Тамъ же, въ ногахъ у него, лежитъ и Феранонтъ.

Цвѣтовъ имъ теперь приносить уже некому, но въ московскихъ норахъ и трещобахъ есть люди, которые помнятъ бѣлоголоваго длиннаго старика, который словно чудомъ умѣлъ узнавать, гдѣ есть истинное горе, и умѣлъ посидѣвать туда во-время самъ, или посылалъ не съ пустыми руками своего добраго нучеглазаго слугу.

Эти два добряка, о которыхъ много бы можно сказать, были: мой дядя и его Феранонтъ, котораго старикъ въ шутку называлъ: *«укротитель звѣря»*

ПРИВИДѢНІЕ ВЪ ИНЖЕНЕРНОМЪ ЗАМКѢ.

(Изъ кадетскихъ воспоминаній.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

У домовъ, какъ у людей, есть своя репутація. Есть дома, гдѣ, по общему мнѣнію, *нечисто*, т. е., гдѣ замѣчаютъ тѣ или другія проявленія какой-то нечистой или, по крайней мѣрѣ, непонятной силы. Спириты старались много сдѣлать для разъясненія этого рода явленій, но такъ какъ теоріи ихъ не пользуются большимъ довѣріемъ, то дѣло съ страшными домами остается въ прежнемъ положеніи.

Въ Петербургѣ во мнѣніи многихъ подобною худою славою долго пользовалось характерное зданіе бывшаго Павловскаго дворца, извѣстное нынче подъ названіемъ Инженернаго замка. Тайнственныя явленія, приписываемыя духамъ и привидѣніямъ, замѣчали здѣсь почти съ самаго основанія замка. Еще при жизни императора Павла тутъ, говорятъ, слышали голосъ Петра Великаго и, наконецъ, даже самъ императоръ Павелъ видѣлъ тѣнь своего прадѣда. Последнее, безъ всякихъ опроверженій, записано въ заграничныхъ сборникахъ, гдѣ нашли себѣ мѣсто описанія визитной карточки Павла Петровича, и въ новѣйшей русской книгѣ г. Кобеко. Прадѣдъ, будто бы, покидалъ могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конецъ ихъ близокъ. Предсказаніе сбылось.

Впрочемъ, тѣнь Петрова была видима въ стѣнахъ замка не однимъ императоромъ Павломъ, но и людьми, къ нему приближенными. Словомъ, домъ былъ страшенъ потому, что

тамъ жили или, по крайней мѣрѣ, являлись тѣни и привидѣнія и говорили что-то такое страшное и, вдобавокъ, еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой въ обществѣ тотчасъ вспомнили и заговорили о предвѣщательныхъ тѣняхъ, встрѣчавшихъ покойнаго императора въ замкѣ, еще болѣе увеличила мрачную и таинственную репутацію этого угрюмаго дома. Съ тѣхъ поръ домъ утратилъ свое прежнее значеніе жилого дворца, а по народному выраженію—«пошелъ подъ кадетовъ».

Нынче въ этомъ упраздненномъ дворцѣ помѣщаются юнкера инженернаго вѣдомства, но начали его «обживать» прежніе инженерные кадеты. Это былъ народъ еще болѣе молодой и совсѣмъ еще не освободившійся отъ дѣтскаго суевѣрія, и притомъ рѣзвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всѣмъ имъ, разумѣется, болѣе или менѣе были известны страхи, которые рассказывали про ихъ страшный замокъ. Дѣти очень интересовались подробностями страшныхъ рассказовъ и напитывались этими страхами, а тѣ, которые успѣли съ ними достаточно освоиться, очень любили пугать другихъ. Это было въ большомъ ходу между инженерными кадетами, и начальство никакъ не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошелъ случай, который сразу отбилъ у всѣхъ охоту къ пуганьямъ и шалостямъ.

Объ этомъ случаѣ и будетъ наступающій рассказъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Особенно было въ модѣ пугать повичковъ или, такъ называемыхъ, «малышей», которые, попадая въ замокъ, вдругъ узнавали такую массу страховъ о замкѣ, что становились суевѣрными и робкими до крайности. Болѣе всего ихъ пугало, что въ одномъ концѣ коридоровъ замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, въ которой онъ легъ почивать здоровымъ, а утромъ его оттуда вынесли мертвымъ. «Старики» увѣряли, что духъ императора живетъ въ этой комнатѣ и каждую ночь выходитъ оттуда и осматриваетъ свой любимый замокъ, — а «малыши» этому вѣрили. Комната эта была всегда крѣпко заперта и притомъ не однимъ, а нѣсколькими замками, но для духа, какъ извѣстно, никакіе замки и затворы не имѣютъ значенія. Да и кромѣ того, говорили, будто въ эту комнату

можно было какъ-то проникать. Кажется, это такъ и было на самомъ дѣлѣ. По крайней мѣрѣ, жило и до сихъ поръ живетъ преданіе, будто это удавалось нѣсколькимъ «старымъ кадетамъ» и прѣдложалось до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ нихъ не задумалъ отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Онъ открылъ какой-то неизвѣстный лазъ въ страшную спальню покойнаго императора, успѣлъ пронести туда простыню и тамъ ее спрятавъ, а по вечерамъ забирался сюда, покрывался съ ногъ до головы этой простынею и становился въ темномъ окнѣ, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проѣзжая, поглядитъ въ эту сторону.

Исполняя такимъ образомъ роль привидѣнія, кадетъ, дѣйствительно, успѣлъ навести страхъ на многихъ суевѣрныхъ людей, жившихъ въ замкѣ, и на прохожихъ, которымъ случалось видѣть его бѣлую фигуру, всѣми принимавшуюся за тѣнь покойнаго императора.

Шалость эта продолжалась нѣсколько мѣсяцевъ и распространила упорный слухъ, что Павелъ Петровичъ по ночамъ ходитъ вокругъ своей спальни и смотритъ изъ окна на Петербургъ. Многимъ до несомнѣнности живо и ясно представлялось, что стоящая въ окнѣ бѣлая тѣнь имъ не разъ кивала головой и кланялась; кадетъ, дѣйствительно, продѣлывалъ такія штуки. Все это вызывало въ замкѣ обширные разговоры съ предвозвѣщательными истолкованіями и закончилось тѣмъ, что надѣлавшій описанную тревогу кадетъ былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія и, получивъ «примѣрное наказаніе на тѣлѣ», исчезъ навсегда изъ заведенія. Ходилъ слухъ, будто злополучный кадетъ имѣлъ несчастіе испугать своимъ появленіемъ въ окнѣ одно случайно проѣзжавшее мимо замка высокое лицо, за что и былъ наказанъ не по-дѣтски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалунъ «умеръ подъ розгами», и такъ какъ въ тогданнее время подобныя вещи не представлялись невѣроятными, то и этому слуху повѣрили, а съ этихъ поръ самъ этотъ кадетъ сталъ новымъ привидѣніемъ. Товарищи пачали его видѣть «тсего изсѣченнаго» и съ гробовымъ вѣнчикомъ на лбу, а на вѣнчикѣ, будто, можно было читать надпись: «вкусная вкусихъ мало меду и се азъ умираю».

Если вспомнить библейскій разсказъ, въ которомъ эти слова находятъ себѣ мѣсто, то оно выходитъ очень трогательно.

Вскорѣ за погибелью кадета спальная комната, изъ которой исходили главнѣйшіе страхи инженернаго замка, была открыта и получила такое приспособленіе, которое измѣнило ея жуткій характеръ, но преданія о привидѣніи долго еще жили, несмотря на послѣдовавшее разоблаченіе тайны. Кадеты продолжали вѣрить, что въ ихъ замкѣ живетъ, а иногда ночами является призракъ. Это было общее убѣжденіе, которое равномерно держалось у кадетовъ младшихъ и старшихъ съ тою, впрочемъ, разницею, что младшіе просто слѣпо вѣрили въ привидѣніе, а старшіе иногда сами устраивали его появленіе. Одно другому, однако, не мѣшало, и сами поддѣльватели привидѣнія его тоже побаивались. Такъ, иные «ложные сказатели чудесъ» сами ихъ воспроизводятъ и сами имъ поклоняются и даже вѣрятъ въ ихъ дѣйствительность.

Кадеты младнаго возраста не знали «всей исторіи», разговоръ о которой, послѣ происшествія съ получившимъ жестокое наказаніе на тѣлѣ, строго преслѣдовался, но они вѣрили, что старшимъ кадетамъ, между которыми находились еще товарищи высѣченнаго или засѣченнаго, была извѣстна вся тайна призрака. Это давало старшимъ большой престижъ и тѣ имъ пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо изъ нихъ сами подверглись очень страшному перепугу, о которомъ я разскажу со словъ одного изъ участниковъ неумѣстной шутки у гроба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Въ томъ 1859 или 1860 году умеръ въ инженерномъ замкѣ начальникъ этого заведенія, генераль Ламновскій. Онъ едва ли былъ любимымъ начальникомъ у кадетъ и, какъ говорятъ, будто бы не пользовался лучшею репутаціею у начальства. Причинъ къ этому у нихъ насчитывали много: находили, что генераль держалъ себя съ дѣтьми, будто бы, очень сурово и безучастливо; мало вникалъ въ ихъ нужды; не заботился объ ихъ содержаніи, — а, главное, былъ докучливъ, придирчивъ и мелочно суровъ. Въ корпусѣ же говорили, что самъ по себѣ генераль былъ бы еще болѣе золъ, но что неодолимую его лютость укрощала

тихая, какъ ангелъ, генеральша, которой ни одинъ изъ кадетъ никогда не видалъ, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрымъ геніемъ, охраняющимъ всѣхъ отъ конечной лютости генерала.

Кромѣ такой славы по сердцу, генераль Ламновскій имѣлъ очень непріятныя манеры. Въ числѣ послѣднихъ были и смѣшныя, къ которымъ дѣти придирались, и когда хотѣли «представить» нелюбимаго начальника, то обыкновенно выдвигали одну изъ его смѣшныхъ привычекъ на видъ до карикатурнаго преувеличенія.

Самою смѣшною привычкою Ламновскаго было то, что, произнося какую-нибудь рѣчь или дѣлая внушеніе, онъ всегда гладилъ всѣми пятью пальцами правой руки свой носъ. Это, по кадетскимъ опредѣленіямъ, выходило такъ, какъ будто онъ «доилъ слова изъ носа». Покойникъ не отличался краснорѣчіемъ, и у него, что называется, часто недоставало словъ на выраженіе начальственныхъ внушеній дѣтямъ, а потому при всякой такой запинкѣ «доеніе» носа усиливалось, а кадеты тотчасъ же теряли серьезность и начинали пересмѣиваться. Замѣчая это нарушеніе субординаціи, генераль начиналъ еще болѣе сердиться и наказывать ихъ. Такимъ образомъ, отношенія между генераломъ и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всемъ этомъ, по мнѣнію кадетъ, всего болѣе былъ виновать «носъ».

Не любя Ламновскаго, кадеты не упустили случая дѣлать ему досажденія и мстить, портя такъ или иначе его репутацию въ глазахъ своихъ новыхъ товарищей. Съ этою цѣлью они распускали въ корпусѣ молву, что Ламновскій знаетъ съ нечистою силою и заставляетъ демоновъ таскать для него мраморъ, который Ламновскій поставитъ для какого-то зданія, кажется, для Исаакиевскаго собора. Но такъ какъ демонамъ эта работа надоѣла, то рассказывали, будто они нетерпѣливо ждутъ кончины генерала, какъ событія, которое возвратитъ имъ свободу. А чтобы это казалось еще достовѣрнѣе, разъ вечеромъ, въ день именинъ генерала, кадеты сдѣлали ему большую непріятность, устроивъ «похороны». Устроено же это было такъ, что, когда у Ламновскаго, въ его квартирѣ, шировали гости, то въ коридорахъ кадетскаго помѣщенія появилась печальная процессія: покрытые простынями кадеты, со свѣчами въ ру-

гахъ, несли на одрѣ чучело съ длинноносою маскою и тихо нѣли погребальныя нѣсни. Устроители этой церемоніи были открыты и наказаны, но въ слѣдующія именины Ламновскаго непростительная шутка съ похоронами опять повторилась. Такъ шло до 1859 года или 1860 года, когда генераль Ламновскій въ самомъ дѣлѣ умеръ и когда пришлось справлять настоящія его похороны. По обычаямъ, которые тогда существовали, кадетами надо было посмѣнно дежурить у гроба, и вотъ тутъ-то и произошла страшная исторія, испугавшая тѣхъ самыхъ героевъ, которые долго пугали другихъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Генераль Ламновскій умеръ позднюю осенью, въ полорѣ мѣсяцѣ, когда Петербургъ имѣлъ самый человѣконенавистный видъ: холодъ, пронизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освѣщеніе тяжело дѣйствуетъ на нервы, а черезъ нихъ на мозгъ и фантазію. Все это производитъ болѣзненное душевное безпокойство и вѣдненіе. Молешоттъ для своихъ научныхъ выводовъ о вліяніи свѣта на жизнь могъ бы получить у насъ въ это время самыя любопытныя данныя.

Дни, когда умеръ Ламновскій, были особенно гадки. Покойника не вносили въ церковь замка, потому что онъ былъ лютеранинъ: тѣло стояло въ большой траурной залѣ генеральской квартиры и здѣсь было учреждено кадетское дежурство, а въ церкви служились, по православному уставу, панихиды. Одну панихиду служили днемъ, а другую вечеромъ. Всѣ чины замка, равно какъ кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихидѣ, и это соблюдалось въ точности. Слѣдовательно, когда въ православной церкви шли панихиды, — все населеніе замка собиралось въ эту церковь, а остальные обширныя помѣщенія и длиннѣйшіе переходы совершенно пустѣли. Въ самой квартирѣ усопшаго не оставалось никого кромѣ дежурной смѣны, состоявшей изъ четырехъ кадетъ, которые съ ружьями и съ касками на локтѣ стояли вокругъ гроба.

Тутъ и пошла заматываться какая-то безпокойная жуть: всѣ начали чувствовать что-то безпокойное и стали чего-то побаиваться; а потомъ вдругъ гдѣ-то проговорили, что опять кто-то «встаетъ» и опять кто-то «ходитъ». Стало такъ не-

приятно, что всё начали останавливать другихъ, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну васъ къ чорту съ такими разказами! Вы только себѣ и людямъ нервы портите! А потомъ и сами говорили то же самое, отъ чего унимали другихъ, и къ ночи уже становилось всёмъ страшно. Особенно это обострилось, когда кадетъ пошунилъ «батя», т. е. какой тогда былъ здѣсь священникъ.

Онъ постыдилъ ихъ за радость по случаю кончины генерала и какъ-то коротко, но хорошо умѣлъ ихъ тронуть и насторожить ихъ чувства.

— «Ходитъ», — сказалъ онъ имъ, повторяя ихъ же слова. — И разумеется что ходить нѣкто такой, кого вы не видите и видѣть не можете, а въ немъ и есть сила, съ которою не сладишь. Это *спиритъ чловѣкъ*, — онъ не въ полночь встаетъ, а въ сумерки, когда сѣро дѣлается, и каждому хочетъ сказать о томъ, что въ мысляхъ есть нехорошаго. Эготъ сѣрый чловѣкъ — *совѣсть*: совѣтую вамъ не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякаго чловѣка кто-нибудь любитъ, кто-нибудь жалѣетъ, — смотрите, чтобы сѣрый чловѣкъ имъ не скинулся, да не далъ бы вамъ тяжелаго урока!

Кадеты это какъ-то взяли глубоко къ сердцу и, чуть только начало въ тотъ день смеркаться, они такъ и оглядываются: нѣтъ ли сѣраго чловѣка и въ какомъ онъ видѣ? Известно, что въ сумеркахъ въ душахъ обнаруживается какая-то особенная чувствительность, — возникаетъ новый міръ, затмевающій тотъ, который былъ при свѣтѣ: хорошо знакомые предметы обычныхъ формъ становятся чѣмъ-то прихотливымъ, непонятнымъ и, наконецъ, даже страшнымъ. Этой порою всякое чувство, почему-то, какъ будто, ищетъ для себя какого-то неопредѣленнаго, но усиленнаго выраженія: настроеніе чувствъ и мыслей постоянно колеблется, и въ этой стремительной и густой дисгармоніи всего внутренняго міра чловѣка начинается свою работу фантазія: міръ обращается въ сонъ, а сонъ — въ міръ... Это заманчиво и страшно, и чѣмъ болѣе страшно, тѣмъ болѣе заманчиво и завлекательно...

Въ такомъ состояніи было большинство кадетъ, особенно передъ ночными дежурствами у гроба. Въ послѣдній вечеръ передъ днемъ погребенія къ панихидѣ въ церковь ожидалось посѣщеніе самыхъ важныхъ лицъ, а потому,

кроме людей, живших в замке, была большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновскаго всё ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особъ; покойникъ оставался окруженный однимъ дѣтскимъ карауломъ. Въ караулъ на этотъ разъ стояли четыре кадета: Г—таиъ, Б—новъ, З—скій и К—динъ, всё до сихъ поръ благополучно здравствующіе и занимающіе теперь солидныя положенія по службѣ и въ обществѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Изъ четырехъ молодцовъ, составлявшихъ караулъ, — одинъ, именно К—динъ, былъ самый отчаянный шалунъ, который докучалъ покойному Ламновскому болѣе всѣхъ и потому, въ свою очередь, чаще прочихъ подвергался со стороны умершаго усиленнымъ взысканіямъ. Покойникъ особенно не любилъ К—дина за то, что этотъ шалунъ умѣлъ его прекрасно передразнивать «по части доенія носа» и принималъ самое дѣятельное участіе въ устройствѣ погребальныхъ процессій, которыя дѣлались въ генеральскія именины.

Когда такая процессія была совершена въ послѣднее тезоименитство Ламновскаго, К—динъ самъ изображалъ покойника и даже произносилъ рѣчь изъ гроба, съ такими ужимками и такимъ голосомъ, что пересмѣшилъ всѣхъ, не исключая офицера, посланнаго разогнать кощунствующую процессію.

Было извѣстно, что это происшествіе привело покойнаго Ламновскаго въ крайнюю гнѣвность, и между кадетами пошелъ слухъ, будто разсерженный генералъ «покаялся наказать К—дина на всю жизнь». Кадеты этому вѣрили и, принимая въ соображеніе извѣстныя имъ черты характера своего начальника, нимало не сомнѣвались, что онъ свою клятву надъ К—динымъ исполнитъ. К—динъ въ теченіе всего послѣдняго года считался «висящимъ на волоскѣ», а такъ какъ, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться отъ рѣзвыхъ и рискованныхъ шалостей, то положеніе его представлялось очень опаснымъ и въ заведенія того только и ожидали, что вотъ-вотъ К—динъ въ чемъ-нибудь попадется, и тогда Ламновскій съ нимъ не церемонится и всё его дробнъ приведетъ къ одному знаменателю, «дастъ себя помнить на всю жизнь».

Страхъ начальственной угрозы такъ сильно чувствовался К—динымъ, что онъ дѣлалъ надъ собою отчаянныя усилія

и, какъ запойный пьяница отъ вина, онъ бѣжалъ отъ всякихъ проказъ, покуда ему пришелъ случай провѣрить на себѣ поговорку, что «мужикъ годъ не пьетъ, а какъ чортъ прорветъ, такъ онъ все пропьетъ».

Чортъ прорвалъ К—дина, именно у гроба генерала, который опочилъ, не приведи въ исполненіе своей угрозы. Теперь генералъ былъ кадету не страшенъ, и долго сдержанная рѣзвость мальчика нашла случай отиринуть, какъ долго скрученная пружина. Онъ просто обезумѣлъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Послѣдняя панихида, собравшая всѣхъ жителей замка въ православную церковь, была назначена въ восемь часовъ, но такъ какъ къ ней ожидалось высшія лица, послѣ которыхъ не деликатно было входить въ церковь, то всѣ отпратились туда гораздо ранѣе. Въ залѣ у покойника осталась одна кадетская смѣна: Г—тонъ, В—новъ, З—скій и К—динъ. Ни въ одной изъ прилегавшихъ огромныхъ комнатъ не было ни души...

Въ половинѣ восьмого дверь на мгновеніе пріотворилась и въ ней на минуту показался плацъ-адъютантъ, съ которымъ въ эту же минуту случилось пустое происшествіе, усилившее жуткое настроеніе: офицеръ, подходи къ двери, или испугался своихъ собственныхъ шаговъ, или ему казалось, что его кто-то обгоняетъ: онъ сначала пріостановился, чтобы дать дорогу, а потомъ вдругъ воскликнулъ:

«— Кто это! кто!» и, торопливо просунувъ голову въ дверь, другою половинкою этой же двери придавилъ самого себя и снова вскрикнулъ, какъ будто его кто-то схватилъ за спиной.

Разумѣется, вслѣдъ же за этимъ онъ оправился и, торопливо окинувъ безокойнымъ взглядомъ траурный залъ, догадался по здѣвшему безлюдію, что всѣ ушли уже въ церковь: тогда онъ опять притворилъ двери и, сильно звеня саблею, бросился ускореннымъ шагомъ по коридорамъ, ведущимъ къ замковому храму.

Стоявшіе у гроба кадеты ясно замѣчали, что и большіе чего-то пугались, а страхъ на всѣхъ дѣйствуетъ заразительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дежурные кадеты проводили слухомъ шаги удалявшагося офицера и замѣчали, какъ за каждымъ шагомъ ихъ

положеніе здѣсь становилось сиротливѣе,—точно ихъ привели сюда и замуровали съ мертвецомъ за какое-то оскорбленіе, котораго мертвый не позабылъ и не простилъ, а, напротивъ, встанетъ и непременно отмститъ за него. И отмститъ страшно, по-мертвецки... Къ этому нуженъ только свой часъ,—удобный часъ полночи.

...«Когда постъ пѣтухъ,
И нежить мечется въ потемкахъ...»

Но они же не достоятъ здѣсь до полуночи,—ихъ смѣняютъ, да и притомъ имъ вѣдь страшна не «нежить», а сѣрый человѣкъ, котораго пора—въ сумеркахъ.

Теперь и были самыя густыя сумерки: мертвецъ въ гробу и вокругъ самое жуткое безмолвіе... На дворѣ съ свирѣпымъ неистовствомъ вылъ вѣтеръ, обдавая огромныя окна цѣлыми потоками мутнаго осенняго ливня, и гремѣлъ листьями кровельныхъ загибовъ: печныя трубы гудѣли съ перерывами, — точно онѣ вздыхали или, какъ будто, въ нихъ что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнѣе напирало. Все это не располагало ни къ трезвости чувствъ, ни къ спокойствію разсудка. Тяжесть всего этого впечатлѣнія еще болѣе усиливалась для ребятъ, которые должны были стоять, храня мертвое молчаніе: все какъ-то путается; кровь, приливая къ головѣ, ударялась имъ въ виски и слышалось что-то въ родѣ однообразной мельничной стукотни. Кто переживалъ подобныя ощущенія, тотъ знаетъ эту странную и совершенно особенную стукотню крови, — точно мельница мелеть, но мелеть не зерно, а перемалываетъ самоё себя. Это скоро приводитъ человѣка въ тягостное и раздражающее состояніе, похожее на то, которое непривычные люди ощущаютъ, опускаясь въ темную шахту къ рудокопамъ, гдѣ обычный для насъ дневной свѣтъ вдругъ замѣняется дымящейся плонкой... Выдерживать молчаніе становится невозможно,—хочется слышать хоть свой собственный голосъ, хочется куда-то сунуться,—что-то сдѣлать самое безразсудное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Одинъ изъ четырехъ, стоявшихъ у гроба генерала, кадетовъ, именно К—динъ, переживая всѣ эти ощущенія, забылъ дисциплину и, стоя подъ ружьемъ, прошепталъ:

— Духи лѣзутъ къ намъ за шапкинмъ носомъ.

Ламновскаго въ шутку называли иногда «палкою», но шутка на этотъ разъ не смѣшила товарищей, а, напротивъ, увеличила жуть, и двое изъ дежурныхъ, замѣтивъ это, отвѣчали К—дину:

— Молчи... и безъ того страшно,—и всѣ тревожно воззрились въ укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вамъ страшно,—отвѣчалъ К—динъ:—а мнѣ, напротивъ, не страшно, потому что мнѣ онъ теперь уже ничего не сдѣлаетъ. Да: надо быть выше предразсудковъ и пустяковъ не бояться, а всякій мертвецъ—это уже настоящій пустякъ, и я это вамъ сейчасъ докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нѣтъ, докажу. Я вамъ докажу, что папка теперь ничего не можетъ мнѣ сдѣлать даже въ томъ случаѣ, если я его сейчасъ, сію минуту, возьму за носъ.

И съ этимъ, неожиданно для всѣхъ остальныхъ, К—динъ въ ту же минуту, перехвативъ ружье на локоть, быстро взбѣжалъ по ступенямъ катафалка и, взявъ мертвеца за носъ, громко и весело вскрикнулъ:

— Ага, папка, ты умеръ, а я живъ и трясу тебя за носъ, и ты мнѣ ничего не сдѣлаешь!

Товарищи оторопили отъ этой шалости и не успѣли проронить слова, какъ вдругъ всѣмъ имъ въ разъ ясно и внятно послышался глубокій болѣзненный вздохъ,—вздохъ очень похожій на то, какъ бы кто сѣлъ на надутую воздухомъ резиновую подушку съ неплотно завернутымъ клапаномъ... И этотъ вздохъ,—всѣмъ показалось,—повидимому, шелъ прямо изъ гроба...

К—динъ быстро отхватилъ руку и, споткнувшись, съ громомъ полетѣлъ съ своимъ ружьемъ со всѣхъ ступеней катафалка, трое же остальныхъ, не отдавая себѣ отчета, что они дѣлаютъ, въ страхъ взяли свои ружья на-перевѣсъ, чтобы защищаться отъ поднимавагося мертвеца.

Но этого было мало: покойникъ не только вздохнулъ, а, дѣйствительно, гнался за оскорбившимъ его шалуномъ или придерживать его за руку: за К—динымъ ползла цѣлая волна гробовой кисеи, отъ которой онъ не могъ отбиться,—и, страшно вскрикнувъ, онъ упалъ на полъ... Эта ползущая волна кисеи, въ самомъ дѣлѣ, представлялась явленіемъ совершенно необъяснимымъ и, разумѣется, страшнымъ, тѣмъ болѣе, что закрытый ею мертвецъ те-

перь совсѣмъ открывался съ его сложенными руками на впалой груди.

Шалунъ лежалъ, уронивъ свое ружье, и, закрывъ отъ ужаса лицо руками, издавалъ ужасные стоны. Очевидно, онъ былъ въ памяти и ждалъ, что покойникъ сейчасъ за него примется по-своему.

Между тѣмъ вздохъ повторился и, вдобавокъ къ нему, послышался тихій шелестъ. Это былъ такой звукъ, который могъ произойти, какъ бы, отъ движенія одного суконнаго рукава по другому. Очевидно, покойникъ раздвигалъ руки,—и вдругъ тихій шумъ; затѣмъ потокъ иной температуры пробѣжалъ струею по свѣчамъ и въ то же самое мгновеніе въ шевелившихся портьерахъ, которыми были закрыты двери внутреннихъ покоевъ, показалось *привидѣніе*. Сѣрый человекъ! Да, испуганнымъ глазамъ дѣтей предстало вполне ясно сформированное привидѣніе въ видѣ человека... Явилась ли это сама душа покойника въ новой оболочкѣ, полученной ею въ другомъ мірѣ, изъ котораго она вернулась на мгновеніе, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть-можетъ, это былъ еще болѣе страшный гость,—самъ *духъ замка*, вышедшій сквозь полъ сосѣдней комнаты изъ подземелья!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Привидѣніе не было мечтою воображенія,—оно не исчезало и напоминало своимъ видомъ описаніе, сдѣланное поэтомъ Гейне для видѣнной имъ «таинственной женщины»: какъ то, такъ и это представляло «трунѣ, въ которомъ заключена душа». Передъ испуганными дѣтьми была въ крайней степени изможденная фигура, вся въ бѣломъ, но въ тѣни она казалась сѣрою. У нея было страшно худое, до синевы блѣдное и совсѣмъ угасшее лицо; на головѣ включенные въ беспорядкѣ густые и длинныя волосы. Отъ сильной просѣди они тоже казались сѣрыми и, разбѣгавшись въ беспорядкѣ, закрывали грудь и плечи привидѣнія!.. Глаза видѣлись яркіе, воспаленные и блестящіе болѣзненнымъ огнемъ... Сверканье ихъ изъ темныхъ глубоко впалыхъ орбитъ было подобно сверканью горящихъ углей. У видѣнія были тонкія худыя руки, похожія на руки скелета, и обѣими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая матерію въ слабыхъ пальцахъ, эти руки и производили тотъ сухой суконный шелестъ, который слышали кадеты.

Уста привидѣнія были совершенно черны и открыты, и изъ нихъ-то послѣ короткихъ промежутковъ со свистомъ и хрипѣніемъ вырывался тотъ напряженный полустонъ, полувздохъ, который впервые послышался, когда К—дина взялъ покойника за нось.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Увидавъ это грозное привидѣніе, три оставшіеся на погахъ стража окаменѣли и замерли въ своихъ оборонительныхъ позиціяхъ крѣпче К—дина, который лежалъ пластомъ съ прищипленнымъ къ нему гробовымъ покровомъ.

Привидѣніе не обращало никакого вниманія на всю эту групу: его глаза были устремлены на одинъ гробъ, въ которомъ теперь лежалъ совсѣмъ раскрытый покойникъ. Оно тихо покачивалось и, повидимому, хотѣло двигаться. Наконецъ, это ему удалось. Держась руками за стѣну, привидѣніе медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движеніе это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждомъ шагѣ и съ мученіемъ ловя раскрытыми устами воздухъ, оно исторгало изъ своей пустой груди тѣ ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи изъ гроба. И вотъ еще шагъ, и еще шагъ и, наконецъ, оно близко, оно подошло къ гробу, но прежде, чѣмъ подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К—дина за ту руку, у которой, отвѣчая лихорадочной дрожи его тѣла, трепетать край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отщипило эту кисею отъ обшлажной пуговицы шалуна; потомъ посмотрѣло на него съ неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затѣмъ, оно, едва держась на трясущихся ногахъ, поднялось по ступенямъ катафалка, ухватилось за край гроба и, обвивъ своими скелетными руками и плечи покойника, зарыдало...

Казалось, въ гробу цѣловались двѣ смерти, но скоро и это кончилось. Съ другого конца замка донесся слухъ жизни: панихида кончилась и изъ церкви въ квартиру мертвеца сіѣнными передовые, которымъ надо было быть здѣсь, на случай посѣщенія высокихъ особъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

До слуха кадетъ долетѣли приближавшіеся по коридорамъ гулкіе шаги и вырвавшіеся вслѣдъ за ними изъ отворенной церковной двери послѣдніе отзвуки зауспокойной гѣсни.

Оживительная перемѣна впечатлѣній заставила кадетъ ободриться, а долгъ привычной дисциплины поставилъ ихъ въ надлежащей позиціи на надлежащее мѣсто.

Тотъ адъютантъ, который былъ послѣднимъ лицомъ, заглянувшимъ сюда передъ наихидою, и теперь торопливо вбѣжалъ первый въ траурную залу и воскликнулъ:

— Боже мой, какъ она сюда пришла!

Трупъ въ бѣломъ, съ распущенными сѣдыми волосами, лежалъ, обнимая покойника, и, кажется, самъ не дышалъ уже. Дѣло пришло къ разъясненію.

Напугавшее кадетъ привидѣніе была вдова покойнаго генерала, которая сама была при смерти и, однако, имѣла несчастье пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда всѣ ушли къ парадной наихидѣ въ церковь, она сползла съ своего смертнаго ложа и, опираясь руками объ стѣны, явилась къ гробу покойника. Сухой шелестъ, который кадеты приняли за шелестъ рукавовъ покойника, были ея прикосновенія къ стѣнамъ. Теперь она была въ глубокомъ обморокѣ, въ которомъ кадеты, по распоряженію адъютанта, и вынесли ее въ креслѣ за драпировку.

Это былъ послѣдній страхъ въ инженерномъ замкѣ, который, по словамъ рассказчика, оставилъ въ нихъ навсегда глубокое впечатлѣніе.

— Съ этого случая, — говорилъ онъ: — всѣмъ намъ стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку послѣдняго привидѣнія инженернаго замка, которое одно имѣло власть простить насъ по святому праву любви. Съ этихъ же поръ прекратились въ корпусѣ и страхи отъ привидѣній. То, которое мы видѣли, было послѣднее.

ОТБОРНОЕ ЗЕРНО.

КРАТКАЯ ТРИЛОГИЯ ВЪ ПРОСОНКЪ.

«Спящимъ челоѣкомъ придетъ врагъ и всѣя пшавелы посреди пшеницы».

МѠ. XII. 25.

Желаніе видѣть дорогихъ друзей заставляло меня спѣшить къ нимъ, а недосугъ позволялъ сдѣлать нужный для этого переѣздъ на самыхъ праздникахъ. Благодаря такимъ условіямъ, я встрѣчалъ новый годъ въ вагонѣ. Настроеніе внутри себя я чувствовалъ невеселое и тяжелое. Учители благочестія внушаютъ повѣрять свою совѣсть каждый вечеръ. Этого я не дѣлаю, но при окончаніи прожитаго года благочестивый совѣтъ наставниковъ приходитъ на память. и я начинаю себя провѣрять. Дѣлаю я это сразу за цѣлый годъ, но зато аккуратно всякій разъ остаюсь собою все-сторонне недоволенъ. Въ нынѣшній разъ мое обычное неудовольствіе осложнилось еще и досадами на другихъ,— особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моихъ соотечественникахъ и за его недобрый на нашъ счетъ предсказаніа. Его желѣзная грубость позволила ему прямо и безъ застѣнчивости сказать, что Россіи, по его мнѣнію, только и остается «погибнуть». Какъ, «за что погибнуть!» И пошло думаться и выходить—будто какъ и есть за что,—будто какъ и не за что? А кругомъ меня все спитъ. Пять, шесть пассажировъ, которыхъ случай послалъ мнѣ въ понутчики, всѣ другъ отъ друга сторонились и всѣ хранятъ въ какомъ-то озлобленіи.

И стало мнѣ стыдно отъ моеї унылости и моего пусто-мысля, и зачѣмъ я не сплю, когда всѣмъ спится? И какое мнѣ дѣло до того, чтѣ сказалъ о насъ Бисмаркъ, и для чего я обязанъ вѣрить его предсказаніямъ? Лучше ничего этого «внѣтъ не тѣшить», а приспособиться, да заснуть яко же и прочіе человѣцы и пойдетъ дѣло веселѣе и занимательнѣе.

Такъ я и сдѣлалъ: отвернулся отъ всѣхъ, рагѣ оборотившихся ко мнѣ спинами, и началъ усиленно звать сонъ; но мнѣ плохо спалось съ безирестанными перерывами, пока судьба не послала мнѣ неожиданнаго развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и въ то же время ободрило меня противъ невыгодныхъ заключеній о нашей дисгармоніи.

Съ платформы у одного маленькаго городка вошли два человѣка—одинъ легкій на ногу, должно быть, молодой, а другой—грузнѣе и постарше. Я, впрочемъ, не могъ ихъ разсмотрѣть, потому что фонари въ вагонѣ были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько свѣта, чтобы можно было хорошо разсмотрѣть незнакомыя лица. Однако я сразу же расположился быть думать, что новые пассажиры принадлежатъ не только къ достаточному, но и къ образованному классу. Они, входя, не шумѣли, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обезпокоить своимъ приходомъ, а расположились тихо и спсходительно тамъ, гдѣ нашлось для нихъ свободное сидѣнье. По случаю это пришлось очень близко отъ того мѣста, гдѣ я дремалъ, забившись въ темный уголокъ дивана. Волей-неволей я долженъ былъ слышать всякое ихъ слово, если бы оно было сказано даже полупрошегомъ. Это такъ и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговоръ, который повели тихо вполголоса мои новые сосѣди, показался мнѣ настолько интереснымъ, что я его тогда же, по прѣздѣ домой, записалъ, а теперь рѣшаюсь даже представить вниманію читателей.

По первымъ же словамъ, съ которыхъ здѣсь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя въ ожиданіи поѣзда на станціи, бесѣдовали на одну какую-то любопытную тему, а здѣсь они только продолжали иллюстраціи къ положеніямъ, до которыхъ раньше договорились.

Говорить изъ двухъ пассажировъ одинъ, у котораго былъ

старый, подержанный баритонъ, — голосъ приличный, такъ сказать, большому акціонеру или не меньше, какъ тайному совѣтнику, явно разрабатывающему какія-нибудь естественныя богатства страны. Другой только слушалъ и лишь изрѣдка вставлялъ какое-нибудь слово, или спрашивалъ какихъ-нибудь поясненій. Этотъ говорилъ немного звонкимъ фальцетомъ, какой нынче случается у прогрессирующихъ чиновниковъ особыхъ порученій, чувствующихъ тяготѣніе къ литературѣ.

Начиналъ баритонъ, и рѣчь его была слѣдующая:

— Я вамъ сейчасъ же представлю всю эту нашу социабельность въ лицахъ и притомъ, какъ она выразилась, заразъ въ одномъ самомъ недавнемъ и на мой взглядъ прелюбопытномъ дѣлѣ. Случай этотъ можетъ вамъ показать, что нашъ самобытный русскій геній, который вы отрицаете, — вовсе не вздоръ. Пускай тамъ говорятъ, что мы и *Развья*, и что у насъ вездѣ разладъ, да разладъ, но на самомъ-то дѣлѣ, кто умѣетъ наблюдать явленія безпристрастно, тотъ и въ этомъ разладѣ долженъ усмотрѣть нѣчто чрезвычайно круговое, или, такъ сказать, по-вашему «социабельное». Бисмаркъ гдѣ-то сказалъ разъ, что Россія будто «остается только погнѣнуть», а газетные звонари это подхватили и звонять, и звонять... А вы не слушайте этого звона, а вникайте въ дѣла, какъ они на самомъ дѣлѣ дѣлаются, такъ вы и увидите, что мы умѣемъ спастись отъ бѣды, какъ никто другой не умѣетъ, и что намъ, дѣйствительно, не страшны многія такія положенія, которыя и самому господину Бисмарку въ голову, можетъ-быть, не приходили, а другихъ людей, не имѣющихъ цѣлаго крѣпкого закала, просто раздавили бы.

— Прелюбопытно ставите вопросъ, и я охотно васъ слушаю, — замѣтилъ фальцетъ.

Баритонъ продолжалъ:

— Если бы я готовилъ къ печати тѣ три маленькія исторійки, которыя хочу разсказать вамъ о нашей социабельности. то я, вѣроятно, назвалъ бы это какъ-нибудь трилогіею о томъ, какъ воръ у вора дубинку укралъ и какое оттого вышло для всѣхъ благополучіе жизни. Впрочемъ, какъ нынче уже, можно сказать, всякій даже инимѣ литератора изъ себя корчитъ, то и я попробую излагать вамъ мою повѣсть литературно... Именно, раздѣлю вамъ мой раз-

сказъ по рубрикамъ, въ родѣ трилогин, и въ первую статью пушу интеллигента, то есть барина, который, по мнѣнію нѣкоторыхъ, будто бы болѣе другихъ «оторванъ отъ почвы». А вотъ вы сейчасъ же увидите, какіе это пустяки, и какъ у насъ по родной пословицѣ «всякая сосна своему бору шумить».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Баринъ.

Поѣхалъ я лѣтомъ странствовать и прѣѣхалъ на выставку. Обошелъ и осмотрѣлъ всѣ отдѣлы, попробовалъ-было чѣмъ-нибудь отечественнымъ полюбоваться, но, какъ и слѣдовало ожидать, — вижу, что это не выходитъ: полюбоваться нечѣмъ. Одно, что мнѣ, было, приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница въ одной витринѣ.

Въ жизнь мою я никогда еще такого крупнаго, чистаго и полнаго зерна не видывалъ. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, какъ, бывало, въ дѣтствѣ видать у себя дома, когда матушка къ Пасхѣ такимъ миндалемъ кулички украшала.

Посмотрѣлъ я на подиумъ и еще больше удивился: написано, что это удивительное, роскошное зерно собрано съ полей моей родной мѣстности, изъ имѣнія, принадлежащаго сосѣду моихъ родственниковъ, именитому барину, котораго называть вамъ не стану. Скажу только, что онъ извѣстный славянской дѣятель, и въ Красномъ Крестѣ ходить, и прочее, и прочее.

Мнѣ зналъ этого господина еще въ гимназін, но, признаться, не питалъ къ нему пріязни. Впрочемъ, это еще по дѣтскимъ воспоминаніямъ, — потому что онъ сначала въ классѣ все ножнички красть и продавать, а потомъ началъ себѣ брови сурмить и еще чѣмъ-то худшимъ заниматься.

Думаю себѣ: пожалуй, и здѣсь тоже обманъ! Небось, гдѣ-нибудь кушиль у нѣмецкихъ колонистовъ кулъ хорошей пшеницы и выставилъ будто съ своихъ полей.

Разсуждалъ я такимъ образомъ потому, что наши поля ржанья, и если родятъ пшеничку, то очень не авантажую. Но чтобы не осуждать долго своего ближняго, пойдучка, думаю, лучше въ буфетъ, выпью глотокъ нашего добраго русскаго вина и кусокъ кулебяки съѣмъ. За съестностью критика исчезаетъ.

Но только я занялъ въ ресторанѣ мѣсто, какъ замѣчаю, что совсѣмъ возлѣ меня сидитъ господинъ, съ виду мнѣ какъ будто когда-то извѣстный. Я на него взглянулъ и отвелъ глаза въ сторону, но чувствую, что и онъ въ меня всматривается, и вдругъ наклонился ко мнѣ и говоритъ:

— Извините меня, если я не ошибаюсь—вы такой-то?

Я отвѣчаю:

— Вы не ошиблись, — я дѣйствительно тотъ, къмъ вы меня назвали.

— А я, говорить,—такой-то.—и отрекомендовался.

Надѣюсь, вы можете догадаться, что это былъ какъ разъ тотъ самый мой давній товарищъ, который въ гимназiи ножички кралъ и брови сурмилъ, а теперь уже разводитъ и выставляетъ самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора съ горою не сходитъ, а человѣку съ человѣкомъ—очень возможно сойтись. Мы перекинулись нѣсколькими вопросами: кто, откуда и зачѣмъ? Я говорю, что такъ, просто, какъ Чичиковъ, ѣзжу для собственнаго удовольствiя. А онъ шутливо подсказываетъ: «вѣрно, обозрѣваете».

— Не обозрѣваю, говорю, — а просто для своего удовольствiя посмотрѣть хочу.

А онъ рекомендуетъ себя экспонентомъ и объявляетъ, что пшеницу выставитъ.

Я отвѣтилъ, что замѣтилъ уже его пшеничку и полюбопытствовалъ, изъ какихъ это сѣмянъ и на какой именно мѣстности росло? Все объясняетъ рѣчисто, — такъ рѣжетъ со всѣми подробностями. Я слова подивился, когда узналъ, что и сѣмена изъ нашего края и поля, зародившiя такое удивительное зерно,—смежны съ полями моего брата.

Дивился, повторяю вамъ, потому, что край нашъ никогда прежде не родилъ очень хорошей пшеницы. А онъ отвѣчаетъ:

— Ну, да то было прежде, а теперь и у насъ совсѣмъ не то. Особенно у меня въ хозяйствѣ. Съ старымъ этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всемъ произошла переменна съ тѣхъ поръ, какъ вы отбыли изъ нашей губернии достигать чиновъ и знатности да легкихъ капиталовъ смѣлыми оборотами. А мы, батюшка, какъ муромцы.—сидимъ на землѣ, сидѣли и кое-что высидѣли и дождались. Теперь опять наше дворянское время начи-

нается, а ваше, чиновничье, проходить. Люди вспомнили дѣдовскую поговорку, что «земляной рубль тонокъ да дологъ, а торговый широкъ да коротокъ». Мы, дворяне, обернулись къ сохѣ и по сторонамъ не зѣваемъ, — мы знаемъ, что не столица, а соха насъ спасетъ.

— Да, говорю,—все это прекрасно, но, однакоже, тамъ, въ вашей мѣстности живетъ мой братъ, и я его навѣщаю, но никогда не слыхалъ, чтобы тамъ родилось такое удивительное зерно.

— Что же изъ этого? Навѣщаю, — это еще не значить хозяйничаю. У меня въ селѣ теперь молодой попъ, такъ я въ его отсутствіе, напримѣръ, жену его навѣщаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяйничаето все-таки попъ. А братъ вашъ, извините,—рутинеръ.

— Да, говорю,—мой братъ не рискливъ.

— Куда ему! Нѣтъ! Такихъ, какъ я, покуда еще только нѣсколько человѣкъ, но мы уже двинули свои хозяйства, и вотъ вамъ результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получая здѣсь за мое зерно золотую медаль. Миѣ это дорого, такъ же какъ упорядоченіе нашихъ славянскихъ княжествъ, которое повредилъ берлинскій трактатъ, — но въ чемъ мы не виноваты, въ томъ и не виноваты, а въ нашемъ хозяйскомъ дѣлѣ намъ никто не указъ. Пройдемъ еще разъ къ моей витринкѣ.

Я былъ очень радъ, чтобы только кончить про «княжества», потому что я въ этомъ вопросѣ профанъ. Подошли къ витринѣ. Онъ взялъ въ руку серебряный совочекъ и началъ съ него у меня передъ глазами зерно перепускать.

— Изумляюсь, говорю,—вижу, но и глазамъ вѣрить не могу, какъ этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земелькѣ!

— А вотъ читайте, — указываетъ на надпись на витринѣ.—Видите: мое имя. И притомъ, батюшка, здѣсь подлогъ невозможенъ: такъ у нихъ въ выставочномъ правленіи всѣ документы—всѣ эти свидѣтельства и разные удостовѣренія. Всѣ доказательства есть, что это дѣйствительно зерно изъ моихъ урожаевъ. Да вотъ будете у своего двоюроднаго брата, такъ жалуйте, сдѣлайте милость, и ко мнѣ — вамъ и всѣ наши крестьяне подтвердятъ, что это зерно съ моихъ полей. Способъ, батюшка, способъ отдѣлки,—вотъ въ чемъ дѣло.

Думаю себѣ: не смѣю вѣрить, а впрочемъ, — Боже, благослови.

— Какая же, спрашиваю, — такому рѣдкостному зерну цѣна?

— Да цѣна хорошая: червивые французинки и англичане не отходятъ, все осаждаютъ и даютъ цѣну какъ разъ въ два раза больше самой высокой, но я имъ, подлецамъ, разумѣется, не продамъ.

— Отчего?

— Какъ это — иностранцамъ-то?.. Э, нѣтъ, батюшка, нѣтъ, — не продамъ! Нѣтъ, батюшка, и такъ у насъ уже много этого несчастнаго разлада слова съ дѣломъ. Что въ самомъ дѣлѣ баловаться? Зачѣмъ намъ иностранцы? Если мы люди истинно-русскіе, то мы и должны поддержать своихъ, истинно-русскихъ торговцевъ, а не чужихъ. Пусть у меня купить нашъ истинно-русскій купецъ, — я ему продамъ и охотно продамъ. Даже своему, православному человѣку уступлю противъ того, что предлагаютъ иностранцы, — но пусть истинно-русскій наживается.

А въ это самое время какъ мы разговариваемъ, смотрю, къ нему дѣйствительно вдругъ подлетаютъ два иностранца.

...Мнѣ показалось, что они какъ будто евреи, но, впрочемъ, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убѣждать его продать имъ ишеницу.

— Видите, какъ юлятъ, — сказалъ онъ мнѣ по-русски: — а тамъ вонъ, смотрите, рыжій чортъ смоленскій лень разсматриваетъ. Это только одинъ отводъ глазъ. Ему лень ни на что не нуженъ, это англичанинъ, который тоже проходу мнѣ не дастъ.

— Что же, думаю, — можетъ-быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у насъ приболтывались, а между своихъ именитыхъ людей не мало встрѣчалось таковыхъ, что гнилой Западъ подъ пятой задавить собирался. Вотъ, вѣрно, и это одинъ изъ таковыхъ.

Прошло съ этой встрѣчи два или три дня, я было уже про этого господина и позабылъ, но мнѣ довелось опять его встрѣтить и ближе съ нимъ ознакомиться. Дѣло было въ одной изъ лучшихъ гостиницъ за обѣдомъ; сѣлъ я обѣдать и вижу, неподалеку сидитъ образцовый хозяинъ съ какимъ-то солиднымъ человѣкомъ, несомнѣнно русскаго и даже несомнѣнно торговаго тѣлосложенія. Оба ѣдятъ хорошо, а еще лучше того записываютъ.

Замѣтилъ и онъ меня и сейчасъ же присылаетъ съ служившимъ имъ половымъ карточку и стаканъ шампанскаго на серебряномъ поднось.

Не принять было неловко, — я взялъ бокаль и издали послалъ ему воздушный поклонъ.

На карточкѣ было начертано карандашомъ: «Поздравьте! продалъ зерно сему благополучному россіянину и тремтете шемъ. Окончивъ обѣдъ, приближайтесь къ намъ».

Ну, думаю, вотъ этого я уже не сдѣлаю, а онъ точно проникъ мои мысли и самъ подходитъ.

— Кончилъ, говорить, — батюшка, разстался, продалъ, но своему, русскому. Вотъ этотъ купчина весь урожай закупилъ и сразу пять тысячъ задатку далъ за мою пшеничку. Дѣло не совсѣмъ пусто, — всего вышло тысячъ на сорокъ. Собственно говоря—и то продешевилъ, но по крайней мѣрѣ пусть пойдетъ своему брату, русскому. Французы и англичанинъ изъ себя выходятъ, злятся, а я очень радъ. Чортъ съ ними, пусть не распускають вздоръ, что у насъ своего патріотизма нѣтъ. Пойдемте, я васъ познакомлю съ моимъ покупателемъ. Оригинальный въ своемъ родѣ субъектъ: изъ настоящихъ простыхъ, истинно-русскихъ людей въ купцы вышелъ и теперь странно богатъ и все на храмы жертвуетъ, но при случаѣ не прочь и покутить. Теперь онъ именно въ такомъ ударѣ: не хотите ли отсюда вмѣстѣ ударимся, «гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ»?

— Нѣтъ, говорю, — куда же мнѣ кутить?

— Отчего такъ? Здѣсь вѣдь чиномъ и званіемъ не стѣсняются, — мы люди простые и дурачимся всѣ кто какъ можетъ.

— То-то и горе, говорю, — что я уже совсѣмъ не могу пить.

— Ну, нечего съ вами дѣлать, — будь по-вашему — оставайтесь. А пока вотъ пробѣжите наше условіе, — полюбуитесь, какъ все обстоятельно. Я, батюшка, вѣдь иначе не иду, какъ погаріальнымъ порядкомъ. Да-а-съ, съ нашими русачками надо все крѣпко дѣлать, и иначе нельзя, какъ хорошенько его «обовязать», а потомъ ужъ и тремтете съ нимъ пить. Вотъ видите, у меня все обозначено: пять тысячъ задатка, зерно принять у меня въ имѣніи, — «весь урожай обмолоченный и хранимый въ амбарахъ села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Какъ находите, нѣтъ ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?

— И я, говорю,—того же самого мнѣнія.

— Да, отвѣчаетъ,—я его немножко знаю: опъ на славянь жертвоваль, а ему пальца въ ротъ не клади.

Баринъ былъ неподдѣльно весель и купецъ тоже.

Вечеромъ я ихъ видѣлъ въ театрѣ въ ложѣ съ слишкомъ красивою и щегольски одѣтою женщиною, которая навѣрно не могла быть ни одному изъ нихъ ни женою, ни родственницею и, повидимому, даже еще не совсѣмъ давно образовала съ ними знакомства.

Въ антрактахъ купецъ появлялся въ буфетѣ и требоваль «тремтете».

Человѣкъ тотчасъ же уносилъ за ними персики и другіе фрукты и бутылку *crème de thé*.

При выходѣ изъ театра, старій товарищъ уловилъ меня и настоятельно зваль ѣхать съ ними вмѣстѣ ужинать и притомъ сообщилъ, что ихъ дама «субъектъ самой высшей школы».

— Настоящей *haut école*!

— Ну, тѣмъ вамъ лучше, говорю,—а мнѣ въ мои лѣта, и проч., и проч.—словомъ, отклонилъ отъ себя это соблазнительное предложеніе, которое для меня тѣмъ болѣе неудобно, что я намѣревался на другой день рано утромъ выѣхать изъ этого веселаго города и продолжать мое путешествіе. Землякъ меня освободилъ, но зато взялъ съ меня слово, что когда я буду въ деревнѣ у моихъ родныхъ, то непременно приѣду къ нему посмотрѣть его образцовое хозяйство и въ особенности его удивительную пшеницу.

Я даль требуемое слово, хотя съ неудовольствіемъ. Не умѣю ужъ вамъ сказать: мѣшали ли мнѣ школьные воспоминанія о ножичкѣ и о чемъ-то худшемъ изъ области *haut école*, или отталкивала меня отъ него настоящая ноздревщина, но только мнѣ все такъ и казалось, что опъ мнѣ дома у себя всучить либо борзую собаку, либо шарманку.

Мѣсяца черезъ два, послонявшись здѣсь и тамъ и немножко потѣчившись, я какъ разъ попалъ въ родныя палестины и послѣ малаго отдыха спрашиваю у моего двоюроднаго брата:

— Скажи, пожалуйста, гдѣ у васъ такой-то? и что это за человѣкъ? мнѣ надо у него побывать.

А кузенъ на меня посмотрѣлъ и говоритъ:

— Какъ, ты его знаешь?

Я говорю, что мы съ нимъ вмѣстѣ въ школахъ были, а потомъ на выставкѣ опять возобновили знакомство.

— Не поздравляю съ этимъ знакомствомъ.

— А что такое?

— Да вѣдь это отвѣтнѣйшій агуннице и патентованный негодий.

— Я, говорю,—признаться, такъ и думалъ.

Тутъ я и рассказалъ, какъ мы встрѣтились на выставкѣ, какъ вспомнили одноканничество и какія вещи онъ мнѣ рассказывалъ про свое хозяйство и про свою дѣятельность въ пользу славянскихъ братій.

Кузень мой расхохотался.

— Что же тутъ смѣшного?

— Все смѣшно, кромѣ кой-чего гадкаго. Впрочемъ, ты, надѣюсь, въ политическія откровенности съ нимъ не пускатся.

— А что?

— Да у него есть одна престранная манера: онъ все наклоняетъ разговоръ по извѣстному склону, а потомъ вдругъ вспоминаетъ, что онъ «дворянинъ», и начинаетъ протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанскимъ отпивали, пока проньетъ память.

— Нѣтъ, говорю, — я въ политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы изъ того не вышло, потому что вся моя политика заключается въ отвращеніи отъ политики.

— А это, говорить,—ничего не значить.

— Однако же?

— Онъ совреть, наклевететь, что ты какъ-нибудь молчаливо пренебрегаешь...

— Ну, тогда, значить, отъ него все равно спасенья нѣтъ.

— Да и пѣтъ, если только не имѣть отваги выгнать его отъ себя вонъ.

Мнѣ это показалось уже слишкомъ.

— Удивляюсь, говорю, — какъ же это всё другіе на его счетъ такъ ошибаются.

— А кто, напримѣръ?

— Да вѣдь вотъ, говорю, — онъ отъ васъ же пріѣзжалъ во время славянской войны, и у насъ про него въ газетахъ писали, и солидные люди его принимали.

Братъ разсмѣлся и говоритъ, что этого господина никто не посылалъ и въ пользу славянъ дѣйствовать не уполномочивалъ, а что онъ самъ усматривалъ въ этомъ хорошее средство къ поправленію своихъ плохихъ денежныхъ обстоятельствъ и еще болѣе дрянной репутаціи.

— А что его у васъ въ столицѣ возили и принимали, такъ этому виновато ваше модничанье: у васъ вѣдь все такъ: какъ затѣете возню въ какомъ-нибудь особливомъ родѣ, то и возитесь съ кѣмъ попало, безъ всякаго разбора.

— Ну, вотъ видишь ли, говорю, — мы же и виноваты. На васъ взаправду не угодны: то вамъ Петербургъ казался холоденъ и чопоренъ, а теперь вы готовы увѣрять, что онъ какой-то простофиля, котораго каждый вашъ нахаль за усы проводить можетъ.

— И вообрази себѣ, что вѣдь, дѣйствительно, можетъ.

— Пожалуйста!

— Истинно тебя увѣряю. Только всеї и мудрости, что надо прислушаться, что у васъ въ данную минуту въ головѣ бурчитъ и какая глупость на дежурство назначается. Открывайте ли вы славянскихъ братій, или ищете умомъ заатлантическихъ друзей, или собираетесь зазвонить вмѣсто колокола въ мужичьи лашти... Уловить это всегда не трудно, чѣмъ вы бредите, а потомъ сейчасъ только пусти къ вашей примѣ свою втору и дѣло сдѣлано. У васъ такъ и заорутъ: «вотъ она наша провинція! — вотъ она наша свѣжая, непочатая сила! Она откликнулась не такъ, какъ мы, такіе, сякіе, ледашіе, гадкіе, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландскихъ болотахъ». Вы себя черните да бьете при содѣйствіи какого-нибудь литературнаго лгунищи, а наши провинціалы читаютъ да думаютъ: «эва мы, братцы, въ гору пошли!» И вотъ, которые понельмоватѣ, поначитавшись, какъ вы тамъ сами собою тиготитесь и ждете отъ насъ, провинціаловъ, обновленія—снаряжаются и ѣдутъ въ Петербургъ, чтобы удѣлнить вамъ нѣчто отъ нашей дѣловитости, отъ нашихъ «здравыхъ и крѣпкихъ національныхъ идей». Хорошіе и смиренныя люди, разумѣется, глядятъ на это да удивляются, а ловкачи межъ тѣмъ дѣло дѣлаютъ. Везутъ вамъ эти лгунищи какъ разъ то, что вамъ хочется получить изъ провинціи: они и славянамъ братья, и заатлантичникамъ — друзья, и впереди они вызывались бѣжать, и назадъ рады спятиться до Обровъ и

Дулѣбовъ. Словомъ, чего хотите, -- тѣмъ они вамъ и скинутса. А вы думаете: «это земля! это провинція». Но мы, домохѣды, знаемъ, что это и не земля, и не провинція, а просто наши лгунищи. И тотъ, къ которому ты теперь собираешься, именно и есть изъ этого сорта. У васъ его величали, а по-нашему онъ имени человѣческаго не стѣбитъ и у насъ съ нимъ, Богъ вѣсть, съ коей поры никто никакого дѣла имѣть не хотѣлъ.

— Но, однако, по крайней мѣрѣ,—опъ хорошиіі хозяинъ.

— Нимало.

— Но онъ при деньгахъ,—это теперь рѣдкость.

— Да, съ того времени, какъ ѣздилъ въ Петербургъ учить васъ національнымъ идеямъ, у него въ мошнѣ кое-что стало позвякивать, но намъ извѣстно, что онъ тамъ купилъ и кого продалъ.

— Ну, въ этомъ случаѣ, говорю, — я свѣдущѣ васъ всѣхъ: я самъ видѣлъ, какъ онъ продалъ свою превосходную пшеницу.

— Нѣтъ у него такой пшеницы.

— Какъ это—«нѣтъ»?

— Нѣтъ, да и только. Такъ нѣтъ, какъ и не было.

— Ну, ужъ это извини,—я ее самъ видѣлъ.

— Въ витринѣ?

— Да, въ витринѣ.

— Ну, это неудивительно — это ему наши бабы руками отбирали.

— Полно, говорю,—пожалуйста: развѣ это можно руками отбирать?

— Какъ! руками-то? А разумѣется можно. Такъ, — сидятъ, знаешь, бабы и дѣвки весеннимъ денькомъ въ тѣни подъ амбарчикомъ, поютъ какъ «Антонъ козу ведетъ», а сами на ладоняхъ зернышко къ зернышку отбираютъ. Это очень можно.

— Какіе, говорю,—пустяки!

— Совсѣмъ не пустяки. За пустяки такой скаредъ, какъ мой сосѣдъ, денегъ платить не станетъ, а онъ сорока бабамъ цѣлый мѣсяцъ по пятиалтынному въ день платилъ. Время только хорошо выбралъ:—у насъ вѣдь весной бабы ни по чемъ.

— А какъ же, спрашиваю,—у него на выставкѣ было свидѣтельство, что это зерно съ его полей!

— Что же, это и правда. Выбранныя зернышки тоже вѣдь на его полѣ выросли.

— Да; но, однако, это, значить, — голое и очень наглое мошенничество.

— И не забудь — не первое и не послѣднее.

— Да, но какъ же... этотъ кунецъ, котораго онъ «обовязалъ» такими безвыходными условіями... Онъ началъ, разумѣется, противъ этого барина судебное дѣло, или опъ разорился?

— Да, пожалуй, — онъ началъ дѣло, но только совсѣмъ въ особой инстанціи.

— Гдѣ же это?

— У мужика. Выше этого вѣдь теперь, по вашему вразумленію, ничего быть не можетъ.

— Да полно, говорю, — тебѣ эти крючки загибать, да шутковать. — Расскажи лучше просто, какъ слѣдуетъ, — что такое происходитъ въ вашей самодѣтельности?

— Изволь, — отвѣчаетъ пріятель: — я тебѣ расскажу. — Да, батюшка, и рассказалъ такое, что въ самомъ дѣлѣ можетъ и даже должно превышать всякія узкія, чужеземныя понятія объ оживленіи дѣлъ въ краѣ... Не знаю, какъ вамъ это покажется, но по-моему — оригинально и духъ истиннаго, самобытнаго человѣка не можетъ не радовать.

Тутъ фальцетъ перебилъ рассказчика и началъ его упрощать довести начатую трилогію до конца, то-есть рассказать, какъ кунецъ сдѣлался съ пройдохою-баринномъ, и какъ всѣхъ ихъ помирилъ и выручилъ мужикъ, къ которому теперь якобы идетъ какая-то апелляція во всѣхъ случаяхъ жизни.

Баритонъ согласился продолжать и замѣтить:

— Это довольно любопытно. Представьте вы себѣ, что какъ ни смѣлъ и находчивъ былъ сейчасъ мною вамъ описанный дворянинъ, съ которымъ никому не дай Богъ въ дѣлахъ встрѣтиться, но кунецъ, котораго онъ такъ безпощадно надулъ и запуталъ, оказался еще его находчивѣе и смѣлѣе. Какой-нибудь вертопрахъ-чужеземецъ увидалъ бы тутъ всего два выхода: или обратиться къ суду, или сдѣлать изъ этого, — чортъ возьми, — вопросъ крови. Но нашъ простой, ясный русскій умъ нашелъ еще одно измѣненіе и такой выходъ, при которомъ и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротивъ, —

всѣ свою невинность соблюли, и всѣ себѣ капиталы приобрѣли.

— Прелюбопытно!

— Да какъ же-съ! Изъ такой возмутительной, предательской и вообще гадкой исторіи, которая какого хотите, любого западника въ конецъ бы разорила, — нашъ православный пузатый купчина вышелъ молодцомъ и даже нажилъ этимъ большія деньги и, что всего важнѣе, — онъ, сударь, общественное дѣло сдѣлать: онъ многихъ истинно несчастныхъ людей поддержать, поправить и, такъ сказать, устроить для многихъ благоденствіе.

— Прелюбопытно, — снова вставилъ фальцетъ.

— Ну, ужъ, однимъ словомъ, — слушайте: купецъ, который сейчасъ передъ вами является, увѣряю васъ, барина лучше.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Купецъ.

Купецъ, которому было продано отборное зерно, разумѣется, былъ обманутъ безпощадно. Всѣ эти французы жидовскаго типа и англичане, — равно какъ и дама *haut école* у помѣщика были подставныя лица, такъ сказать его агенты, которые дѣйствовали, какъ извѣстный Утѣшительный въ гоголевскихъ «игрокахъ». Иностранцамъ такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первыхъ, они не нашли бы способа, какъ съ покупкою справиться, и завели бы судебный скандалъ, а во-вторыхъ, у нихъ у всѣхъ водятся консулы и посольства, которые не соблюдаютъ правилъ невмѣшательства нашихъ дипломатовъ и готовы вступать за своего во всякія мелочи. Съ иностранцами могла бы выйти прескверная исторія, и баринъ, стоя на почвѣ, понималъ, что русское изобрѣтеніе только одинъ русскій же національный гений и можетъ преодолѣть. Потому отборное зерно и было продано своему единовѣрцу.

Прислать этотъ купецъ къ барину приказчика принимать пшеницу. Приказчикъ вошелъ въ амбары, взглянулъ въ закромы, ворохнулъ лопатой и видитъ, разумѣется, что надъ его хозяиномъ совершенно страшное надувательство. А между тѣмъ купецъ уже запродавъ зерно по образцамъ за границу. Первая мысль у растерявнагося приказчика

явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назадъ задатокъ, но условіе такъ написано, что спасенія нѣтъ: и урожаѣ, и годы, и амбары, — все обозначено и задатокъ ни въ какомъ случаѣ не возвращается. У насъ извѣстно: «что взято, то свято». Сунулся приказчикъ туда-сюда, къ законовѣдамъ, — тѣ говорятъ, — ничего не подѣлаешь: надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Споръ, разумѣется, завести можно, да неизвѣстно, чѣмъ онъ кончится, а десять тысячъ задатку гулять будутъ, да и съ иностранными покупателями шутить нельзя. Подай имъ, что запрошено.

Приказчикъ посылаетъ хозяину телеграмму, чтобы тотъ скорѣе самъ пріѣхалъ. Купецъ пріѣхалъ, выслушалъ приказчика, посмотрѣлъ хлѣбъ и говоритъ своему молодцу:

— Ты, братецъ, дуракъ и очень глупо дѣло повелъ. Зерно хорошее и никакой тутъ ссоры и огласки не надо; коммерція любить тайность: товаръ надо принять, а деньги заплатить.

А съ барининомъ онъ повелъ объясненіе въ другомъ родѣ. Приходитъ, — помолился на образъ и говоритъ:

— Здравствуй, баринъ!

А тотъ отвѣчаетъ: — и ты здравствуй!

— А ты, баринъ, илуть, — говоритъ купецъ: — ты, вѣдь, меня надулъ какъ нельзя лучше.

— Что дѣлать, пріятель! а вы сами вѣдь тоже никому спуска не даете и нашего брата тоже объегориваете? — Дѣло обоюдное.

— Такъ-то оно такъ, — отвѣчаетъ купецъ: — дѣло это, дѣйствительно, обоудное; но надо ему свою развязку сдѣлать.

Баринъ очень согласенъ, только говоритъ:

— Желая знать: въ какихъ смыслахъ развязаться?

— А въ такихъ, моль, смыслахъ, что если ты меня въ свое время надулъ, то ты же долженъ мнѣ теперь по-христіански помогать, а я тебѣ всѣ деньги отдамъ и еще, пожалуй, немножко накнну.

Дворянинъ говоритъ, что онъ на этихъ условіяхъ всякое добро очень радъ сдѣлать, только говори, моль, мнѣ прямо: что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купецъ вкратцѣ отвѣчаетъ:

— Мнѣ немного отъ тебя нужно, только поступи ты со мною, какъ поступилъ благоразумный домоправитель, о которомъ въ Евангеліи повѣствуется.

Баринъ говоритъ:

— Я всегда послѣ Евангелія въ церковь хожу: не знаю, что тамъ читается.

Купецъ ему довелъ на память: «Призвавъ коегожда отъ должниковъ господина своего глаголаше: колицимъ долженъ еси? Принми писаніе твое и напиши другое. И похвали Господь домоправителя неправеднаго».

Дворянинъ выслушалъ и говоритъ:

— Понимаю. Это ты, вѣрно, хочешь еще у меня купить такой же рѣдкой пшеницы.

— Да, — отвѣчалъ купецъ: — теперь ужъ надо продолжать, потому что никакимъ другимъ манеромъ намъ себя соблюсти невозможно. А къ тому, нельзя все только о себѣ думать, — надо тоже дать и бѣдному народишку что-нибудь заработать.

Баринъ это о народишкѣ пустилъ мимо ушей, и спрашиваетъ:

— А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

— Да я теперь много куплю... Миѣ такъ надо, чтобы цѣлую барку однимъ этимъ добрымъ зерномъ нагрузить.

— Гмъ! Такъ, такъ! Ты вѣрно хочешь ее особенно бережно везти?

— Вотъ это и есть.

— Ага! понимаю. Я очень радъ, очень радъ, и могу служить.

— Документальное удостовѣреніе нужно, что на цѣлую барку зерна нагружаю.

— Само собою разумѣется. — Развѣ можно въ нашемъ краю безъ документа?

— А какая цѣна? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

— Возьму не дороже, какъ за мертвыя души.

Купецъ не понялъ, въ чемъ дѣло, и перекрестился.

— Какія такія мертвыя души? Что тебѣ про нихъ вздумалось! Имъ гнить, а намъ жить. Мы про живое говоримъ: сказывай сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

— Въ одно слово?

— Въ одно слово.

— По два рубля за куль.

— Вотъ те и разъ!

Это недорого.

— Нѣтъ, ты по-Божьему, — получи по полтинѣ за куль. Дворянинъ сдѣлалъ удивленное лицо.

— Какъ это, — по полтинѣ за куль пшеницы-то?

А тотъ его обрезаживаетъ:

— Ну, какая, говорить, — это пшеница!

— Да ужъ объ этомъ не будемъ спорить — такая она, или сякая, однако ты за нее съ кого-нибудь настоящія деньги слупишь.

— Это еще какъ Богъ дастъ.

— Да ужъ тебѣ-то Богъ непременно дастъ. А вамъ, къ кушамъ, я вѣдь и не знаю, — за что Богъ ужасно милостивъ. Даже, ей-Богу, завидно.

— А ты не завидуй, — зависть грѣхъ.

— Нѣтъ, да зачѣмъ это всѣ деньги должны къ вамъ плыть? Вамъ съ деньгами-то хорошо.

— Да, мы припадаемъ и молимся, — и ты молись: кто молится, тому Богъ даетъ хорошо.

— Конечно, такъ, но вамъ тоже и есть чѣмъ — вы много жертвуете на храмы.

— И это.

— Ну, вотъ то-то и есть. А ты мнѣ дай цѣну подороже, такъ тогда и я отъ себя пожертвую.

Купецъ разсмѣялся.

— Ты, говорить, — плугъ.

А тотъ отвѣчаетъ:

— Да и ты тугъ.

— Нѣтъ, взаправду, вотъ что: — такъ какъ я вижу, что ты знаешь пшенице и хочешь самъ къ вѣрѣ придержаться, то я тебѣ дамъ по гривеннику на куль больше, чѣмъ располагалъ. Получай по шесть гривенъ, и о томъ, что мы сдѣлали, никто знать не будетъ.

А баринъ отвѣчаетъ:

— Хорошо, но еще лучше ты мнѣ дай по рублю за куль и потомъ, если хочешь, всѣмъ объ этомъ рассказывай.

Купецъ посмотрѣлъ на него и оба вразъ разсмѣялись.

— Ну, — говорить купецъ: — скажу я тебѣ, баринъ, что плугѣ тебя даже въ самомъ нижнемъ званіи рѣдко подыскаютъ.

А тотъ, не смутясь, отвѣчаетъ:

— Нельзя, братецъ, въ нашемъ вѣкѣ иначе: теперь у

насъ благородство есть, а нѣтъ крестьянъ, которые наше благородство оберегали, а, во-вторыхъ, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купецъ не сталъ больше торговаться.

— Нечего, видно, съ тобою говорить — ты чищенный, — крестись передъ образомъ и по рукамъ.

Баринъ согласенъ молиться, но только деньги впередъ требуетъ и мѣстечко на столѣ ударяетъ, гдѣ ихъ передъ нимъ положить желательно.

Купецъ о то самое мѣсто деньги и выклатъ.

— Ладно, моль, — вели, только скорѣе, чѣмъ попало новое кулье набивать, — я хочу, чтобы при мнѣ вся погрузка была готова и караванъ отплыть.

Нагрузили барку кулями, въ которыхъ, чортъ знаетъ, какой дряни набили подъ видомъ драгоценной пшеницы; застраховалъ все это купецъ въ самой дорогой цѣнѣ, отслужили молебень съ водосвятиемъ, покормили православный народушко пирогами съ легкимъ и съ сердцемъ, и отправили судно въ ходъ. Барки поплыли своимъ путемъ, а купецъ, время не тратя, съ бариномъ подвелъ окончательные счеты по-Божьему, взялъ бумаги и полетѣлъ своимъ путемъ въ Питеръ и прямо на Аглицкую набережную къ толстому англичанину, которому раньше запродажу совершилъ по тому дивному образцу, который на выставкѣ былъ.

— Зерно, говорить, — отправлено въ ходъ и вотъ документы и страховка: — прошу теперь мнѣ отдать, что слѣдуетъ, на такое-то количество, вторую часть полученія.

Англичанинъ посмотрѣлъ документы и сдалъ ихъ въ контору, а изъ несгораемаго шкафа вынулъ деньги и заплатилъ.

Купецъ завязалъ ихъ въ платокъ и ушелъ.

Тутъ фальцетъ перебилъ рассказчика словами:

— Вы какія-то страсти говорите.

— Я говорю вамъ то, что въ дѣйствительности было.

— Ну, — такъ значить, этотъ купецъ, взявши у англичанина деньги, бѣжалъ, что ли, съ ними за границу?

— Совсе не бѣжалъ. Чего истинный русскій человекъ побѣжитъ за границу? Это не въ его правилахъ: да онъ и никакого другого языка, кромѣ русскаго, не знаетъ. Никуда онъ не бѣжалъ.

— Такъ какъ же онъ ни аглицкаго консула, ни посла

пе боялся? Почему дворянинъ ихъ боялся, а купецъ не сталъ бояться?

— Вѣроятно потому, что купецъ опытиѣе былъ и лучше зналъ народныя средства.

— Ну, полноте, пожалуйста, какія могутъ быть народныя средства противъ англичанъ!.. Эти всесвѣтныя торгаши сами кого угодно обдупятъ.

— Да кто вамъ сказалъ, что онъ хотѣлъ англичанъ, обманывать? Онъ зналъ, что съ ними шутить не годится, и всему дальнѣйшему благополучно теченію дѣла усмотрѣлъ иной проспектъ, а на томъ проспектѣ предвидѣлъ уже для себя полезнаго дѣятеля, въ рукахъ котораго были всѣ средства все это дѣло огранить и въ рамку вставить. Тотъ и далъ всему такой оборотъ, что ни Ротшильдъ, ни Томсонъ Бонеръ и никакой другой коммерческій геній не выдумаетъ.

— И кто же былъ этотъ великій дѣлецъ:—адвокатъ или маклеръ?

— Итъ, мужикъ.

— Какъ мужикъ?

— Да все дѣло обдѣлалъ, онъ—нашъ простой, нашъ находчивый и умный мужикъ! Да я и не понимаю:—отчего васъ это удивляетъ? Вѣдь читали же вы, небось, у Щедрина, какъ мужикъ трехъ генераловъ прокормилъ?

— Конечно, читалъ.

— Ну, такъ отчего же вамъ кажется страннымъ, что мужикъ умѣлъ плутню распутать.

— Будь по-вашему:—спрячу пока мои недоразумѣнія.

— А я вамъ кончу про мужика, и притомъ про такого, который не трехъ генераловъ, а цѣлую деревню одинъ прокормилъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мужикъ.

Мужикъ, къ помощи котораго обратился купецъ, былъ, какъ всякій русскій мужикъ: «съ вида сѣръ, но умъ у него не чортъ съѣлъ». Родился онъ при матушкѣ широкой рѣкѣ-кормилицѣ, а звали его, скажемъ такъ, — *Иваномъ Петровымъ*. Былъ этотъ рабъ Божій Иванъ въ свое время молодъ, а теперь достигалъ почтенной старости, но хлѣба даромъ, лежа на печи, не кушалъ, а служилъ лопманомъ

при Толмачевскихъ порогахъ, на Куришой переправѣ. Лоцманская должность, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, состоитъ въ томъ, чтобы провожать суда, идущія черезъ опасныя для прохода мѣста. За это провожатому лоцману платятъ извѣстную плату и та плата идетъ въ артель, а потомъ раздѣляется между всеми лоцманами данной мѣстности.

Всякій хозяинъ можетъ повести свое судно и на собственную отвѣтственность, безъ лоцмана, но тогда уже, если съ «посудкой» случится какое-нибудь несчастье, — лоцманская артель не отвѣчаетъ. А потому, если судно идетъ съ застрахованнымъ грузомъ, то условіями страховки требуется, чтобы лоцманъ былъ непременно. Взято это, конечно, съ иностранныхъ примѣровъ, безъ надлежащаго вниманія къ нашей безпримѣрной оригинальности и непосредственности. Заводили у насъ страховыя операціи господа иностранцы и думали, что ихъ Рейнъ или Дунай это все равно, что наши Свирь или Волга, и что ихъ лоцманъ и нашъ—это опять одно и то же. Ну, нѣтъ, братъ,—извини!

Наши рѣчные лоцманы люди простые, — не ученые, вояты они суда, сами водимые единымъ Богомъ. Есть какой-то навыкъ и сноровка. Говорятъ, что будто они послѣ половодья дно рѣки изслѣдуютъ и провѣряютъ, но, полагать надо, все это относится болѣе къ области успокоительныхъ всероссійскихъ иллюзій; но въ своемъ родѣ лоцманы — очень большіе дѣльцы и наживаютъ порою кругленькіе капиталыцы. И все это въ простотѣ и въ смиреніи, — Бога почитаючи и не огорчая міръ, то-есть своихъ людей не позабывая.

Мужикъ Иванъ Петровъ былъ изъ зажиточныхъ; ѣлъ не только щи съ мясомъ, а еще, пожалуй, въ жирную масляную кашу ложку сметаны клалъ, не столько уже «для скусу», сколько для степенства — чтобы по бородѣ текло, а ко всему этому выпивалъ для сваренія желудка стаканъ-два нашего простого, добраго русскаго вина, отъ котораго никогда подагры не бываетъ. По субботамъ онъ ходилъ въ баню, а по воскресеніямъ молился усердно и вѣжливо, т. е. прямо отъ своего лица ни о чемъ просить не дерзалъ, а искалъ посредства просіявшихъ угодниковъ; но и тѣмъ не докучалъ съ пустыми руками, а приносилъ во

храмъ дары и жертвы: пелены, ризы, свѣчи и куренія. Словомъ, былъ христіанинъ самаго заправскаго московскаго племѣна.

Купцу, котораго дворянинъ отборнымъ зерномъ обидѣлъ, благочестивый мужикъ Иванъ Петровъ былъ знаемъ по вѣрнымъ слухамъ какъ разъ съ той стороны, съ какой онъ ему нынче самому понадобился. Онъ-то и былъ тотъ, который могъ все дѣло поправить, чтобы никому рѣшительно убытка не было, а *всѣмъ польза*.

— Онъ выручалъ другихъ — долженъ выручить и меня, разсудить купецъ и позвалъ къ себѣ въ кабинетъ того приказчика, который одинъ зналъ, съ чѣмъ у нихъ застрахованные кули на барки нагружены, и говоритъ:

— Ты веди караванъ, а я васъ гдѣ надо встрѣчу.

А самъ поѣхалъ налегкѣ простымъ, богомольнымъ чело-вѣкомъ прямо къ Тихвинской, а замѣсто того попалъ къ Толмачевымъ порогамъ на Куриный переходъ. «Гдѣ сокровище, тамъ и сердце». Присталъ нашъ купецъ здѣсь на постояломъ дворѣ и пошелъ узнавать: гдѣ большой чело-вѣкъ Иванъ Петровъ и какъ съ нимъ свидѣться.

Ходить купецъ по бережку и не знаетъ: какъ за дѣло взяться? А просто взяться — невозможно: дѣло затѣно во-ровское.

Къ счастью своему, видитъ купецъ на бережкѣ, на обер-путой кверху дномъ лодкѣ сидитъ весь бѣлый матерой старикъ, въ пливовомъ ватномъ картузѣ, борода празелень и корсунскій мѣдный крестъ изъ-за пазухи касандрійской рубахи наружу виситъ.

Понравился старецъ купцу своимъ правильнымъ видомъ.

Прошелъ мимо этого старика купецъ разъ и два, а тотъ его спрашиваетъ:

— Чего ты здѣсь, хозяинъ, ищешь и что обрѣсти желаешь: то ли, чего не имѣлъ, или то, что потерялъ?

Купецъ отвѣчаетъ, что онъ такъ себѣ «прохаживается», по старикъ умный, — улыбнулся и отвѣчаетъ:

— Что это еще за прохаживаніе! Въ проходку ходить — это господское; а не христіанское дѣло, а степенный чело-вѣкъ за дѣломъ ходить и дѣла смотритъ, — дѣла пытается, а не отъ дѣла лытаеть. Неужели же ты въ такихъ твоихъ годахъ даромъ время провождаешь?

Купецъ видитъ, что обрѣлъ чело-вѣка большого ума и

проницательности, — сейчасъ передъ нимъ и открылся, что онъ, дѣйствительно, дѣла пытается, а не отъ дѣла льтаеть.

— А къ какому мѣсту касающемуся?

— Касающее этого самаго мѣста.

— И въ чемъ оно содержащее?

— Содержащее въ томъ, что я обиженъ весьма несправедливымъ человѣкомъ.

— Такъ; нынче, другъ, мало уже кто по правдѣ живетъ, а все по обидѣ. А кого ты на нашемъ берегу ищешь?

— Ищу себѣ человѣка помогательнаго.

— Такъ; а въ какой силѣ?

— Въ самой большой силѣ—грѣхъ и обиду отнимающей.

— И-и, братъ! Гдѣ весь грѣхъ омыть! Въ Писаніи у Апостоловъ сказано: «весь міръ во грѣхѣ положенъ»,—всего не омоешь, а развѣ хоть по малости.

— Ну, хоть по малости.

— То-то и есть: Господь грѣхъ потономъ омылъ, а онъ вновь насталь.

— Научи меня, дѣдушка,—гдѣ для меня здѣсь полезный человѣкъ?

— А какъ ему имя отъ Бога дано?

— Имя ему Іоаннъ.

— «Бысть человѣкъ посланъ отъ Бога, имя ему Іоаннъ»,—проговорилъ старикъ.—А какъ по изотчеству?

— Петровичъ.

— Ну, самъ передъ тобою я — Иванъ Петровичъ. Сказывай, какая твоя нужда?

Тотъ ему разскажалъ, впрочемъ только одну первую половину, то-есть о томъ, какой плутъ былъ баринъ, который ему отборное зерно продалъ, а о томъ, какое онъ самъ плутовство сдѣлалъ,—про то умолчалъ, да и надобности разсказывать не было, потому что старецъ все въ молчаніи постигъ и мягко оформилъ отвѣтное слово:

— Товаръ значитъ страховою?

— Да.

— И подконтраченъ?

— Да, подконтраченъ.

— Иностранцамъ?

— Англичанамъ.

— Ухъ! Это жохи!

Старикъ зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ, потомъ всталъ и добавилъ:

— Приходи-ко ты ко мнѣ, кручинная голова, на дворъ: о такомъ дѣлѣ надо говорить—подумавши.

Черезъ нѣкоторое время, какъ тамъ было у нихъ условлено, приходитъ купецъ, «кручинная голова», къ Ивану Петрову, а тотъ его на огородъ,—сѣлъ съ нимъ на банное крылечко и говоритъ:

— Я твое дѣло все обдумалъ. Пособить тебѣ отъ твоихъ обязательствъ—дѣйствительно надо, потому что своего русскаго человѣка грѣшно чужанамъ выдать, и какъ тебя избавить—это есть въ нашихъ рукахъ, но только есть у насъ одна своя мірская причина, которая здѣсь къ тому не позволяетъ.

Купецъ сталъ упрашивать.

— Сдѣлай милость, говоритъ:—я тысячь не пожалѣю и деньги сейчасъ впередъ хоть Николѣ, хоть Спасу за образникъ положу.

— Знаю, да взять нельзя.

— Отчего?

— Очень опасно.

— Съ коихъ же поръ ты такъ опасливъ сталъ?

Старикъ на него поглядѣлъ и съ солиднымъ достоинствомъ замѣтилъ, что онъ всегда былъ опасливъ.

— Однако,—другимъ помогаль.

— Разумѣется,—помогаль, когда въ своемъ правилѣ и весь міръ за тебя стоять будетъ.

— А нынѣ развѣ міръ противъ тебя стоитъ?

— Я такъ думаю.

— А почему?

— Потому что у насъ, на Куриной переправѣ, въ прошломъ году страховое судно затонуло и наши сельскіе на томъ разгрузѣ вволю и заработали, а если нынче оиать у насъ этому статься, то на Поросячьемъ бродѣ люди осерчаютъ и въ доносъ пойдутъ. Тамъ понѣ пожаръ былъ, почитай все село сгорѣло и имъ строиться надо и храмъ поправить. Нельзя все однимъ нашимъ предоставить благодѣянію, а надо и тѣмъ. А поѣзжай-ко ты нынче ночью туда на Поросячій бродъ, да вызови изъ третьяго двора въ селѣ человѣка, Петра Иванова, — вотъ той рабъ *тебѣ все лже* ко спасенію твоему учредить. Да денегъ не пожалѣй—имъ строиться нужно.

— Не пожалѣю.

Купецъ въ ту же ночь поѣхалъ, куда благословилъ дѣдушка Іоаннъ, нашелъ тамъ безъ труда въ третьемъ дворѣ указаннаго ему вспомогательнаго Петра и очень скоро съ нимъ сдѣлался. Далъ, можетъ-быть, и дорого, но вышло такъ честно и аккуратно, что одно только утѣшеніе.

— То-есть какое же это утѣшеніе?—спросилъ фальцетъ.

— А такое утѣшеніе, что какъ подоспѣлъ сюда купцовъ караванъ, гдѣ плыла и та барка съ соромъ, вмѣсто дорожной пшеницы, то всѣ пристали противъ часоуенки на бережку, помолелствовали, а потомъ лоцманъ Петръ Ивановъ сталъ на буксиръ и повелъ, и все велъ благополучно, да вдругъ самую малость рулевому оборотъ далъ и такъ похибилъ, что всѣ суда прошли, а эта барка зацѣпилась, повернулась, какъ лягушка, пузомъ вверхъ и потонула.

Народу стояло на обоихъ берегахъ множество и всѣ видѣли, и всѣ восклицали: «ишь-ты! поди-жь ты!» Словомъ, «случилось несчастіе» ни вѣсть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петръ на руль весь въ поту, умалялся, а купецъ на берегу весь блѣдный, какъ смерть, стоялъ да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяинъ только покорностью взялъ: перекрестился, вздохнулъ да молвилъ:

— Богъ далъ, Богъ и взялъ, — буди Его Святая Воля.

Всѣхъ искреннѣе и оживленнѣе былъ народъ: изъ народа къ купцу уже сейчасъ же начали приставать люди съ просьбами: «теперь насъ не обезсудь, — это на сиротскую долю Богъ далъ». И послѣ этого пошли веселія дѣла: съ одной стороны исполнялись формы и обряды законныхъ удостовѣреній и выдача купцу страховой преміи за погибшій соръ, какъ за драгоценную пшеницу; а съ другой — зашлѣло народное оживленіе и пошла поправка всей мѣстности.

— Какъ это?

— Очевидно просто; нѣмцы ведутъ все по правиламъ заграничнаго сочиненія: пріѣхалъ страховой агентъ и сталъ занимать людей, чтобы затонувшій грузъ изъ воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Трудъ не малый и долгій. Погорѣлые мужички сумѣли воспользоваться обстоятельствами: на мужчину брали въ день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихоночку, — все лѣто

такъ съ Божіей помощью и проработали. Зато на берегу точно «улинье стало»,—погорѣлыя слезы высохли, всѣ поютъ пѣсни да приплясываютъ, а на горѣ у наемныхъ плотниковъ весело топоры стучать и домьки, какъ грибки, растутъ на погорѣломъ мѣстѣ. И такъ, сударь мой, все село отстроилось, и вся бѣднота и голытьба поприкрылась, и понаѣлась, и Божій храмъ поправили. Всѣмъ хорошо стало и всѣ зажили, хваляще и благодаряще Господа, и никто, ни одинъ человѣкъ не остался въ убыткѣ—и никто не въ огорченіи. Никто не пострадал!

— Какъ никто?

— А кто же пострадал? Баринъ, купецъ, народъ, т. е. мужички,—всѣ только нажились.

— А страховое общество?!

- Страховое общество?

— Да.

— Батюшка мой, о чемъ вы заговорили!

— А что же,—развѣ оно не заплатило?

— Ну, какъ же можно не заплатить, — разумѣется, заплатило.

— Такъ это по-вашему—не гадость, а соціабельность?!

— Да, разумѣется же соціабельность! Столько русскихъ людей поправилось, и цѣлое село годъ прокормилось, и великолѣпныя постройки отстроились, и это, изволите видѣть, по-вашему называется «гадость».

— А страховое-то общество — это что уже, стало-быть, не соціабельное учрежденіе?

— Разумѣется, нѣтъ.

— А что же это такое?

— Нѣмецкая затѣя.

— Тамъ есть акціонеры и русскіе.

— Да, которые съ нѣмцами знаются, да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалятъ.

— А вы его не хвалите?

— Боже меня сохрани! Онъ уже сталъ проповѣдывать, что мы, русскіе, будто «черезъ мѣру свою глупостію злоупотреблять начали»,—такъ пусть его и знаетъ, какъ мы глупы-то; а я его и знать не хочу.

— Это чортъ знаетъ что такое!

— А что именно?

— Вотъ то, что вы мнѣ разсказывали.

Фальцетъ расхохотался и добавилъ:

— Нѣтъ, я васъ рѣшительно не понимаю.

— Представьте, а я васъ тоже не понимаю.

— Да, если бы насъ слушать кто-нибудь сторонній чловѣкъ, который бы насъ не зналъ, то онъ бы непремѣнно въ правѣ быть о насъ подумать, что мы или плуты, или дураки.

— Очень можетъ быть, но только онъ этимъ доказать бы свое собственное легкомысліе, потому что мы и не плуты, и не дураки.

— Да, если это такъ, то, пожалуй, мы и сами не знаемъ, кто мы такіе.

— Ну, отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благополучные россияне, возвращающіеся съ ингерманландскихъ болотъ къ себѣ *домой*,—на теплыя полати, ко щамъ, да къ бабамъ... А кстати, вотъ и наша станція.

Поездъ началъ убавлять ходъ, послышался визгъ тормозовъ, звонокъ—и собесѣдники вышли.

Я приподнялся-было, чтобы ихъ разсмотрѣть, но въ густомъ полумракѣ мнѣ это не удалось. Видѣлъ только, что оба люди окладистые и рослые.

ОБМАНЪ.

«Смоковница отмечаетъ пупы свои
отъ вѣтра велика».

Апк. II, 13.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Подъ самое Рождество мы ѣхали на югъ и, сидя въ вагонѣ, разсуждали о тѣхъ современныхъ вопросахъ, которые даютъ много матеріала для разговора и въ то же время требуютъ скорого рѣшенія. Говорили о слабости русскихъ характеровъ, о недостаткѣ твердости въ нѣкоторыхъ органахъ власти, о классицизмѣ и о евреяхъ. Больше всего прилагали заботъ къ тому, чтобы усилить власть и вывести въ расходъ евреевъ, если невозможно ихъ исправить и довести, по крайней мѣрѣ, хотя до извѣстной высоты нашего собственнаго нравственнаго уровня. Дѣло, однако, выходило не радостно: никто изъ насъ не видалъ никакихъ средствъ распорядиться властію, или достигнуть того, чтобы всѣ, рожденные въ еврействѣ, опять вошли въ утробы и снова родились совсѣмъ съ иными натурами.

— А въ самой вещи,—какъ это сдѣлать?

— Да никакъ не сдѣлаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компанія у насъ была хорошая,—люди скромные и несомнѣнно основательные.

Самымъ замѣчательнымъ лицомъ въ числѣ пассажировъ, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военнаго. Это былъ старикъ атлетическаго сложенія. Чинъ его былъ неизвѣстенъ, потому что изъ всей боевой

амуниции у него уцѣляла одна фуражка, а все прочее было замѣнено вещами статскаго изданія. Старикъ былъ бѣловолость, какъ Несторъ, и крѣпокъ мышцами, какъ Сампсонъ, котораго еще не остригла Далила. Въ крупныхъ чертахъ его смуглаго лица преобладало твердое и опредѣлительное выраженіе и рѣшимость. Безъ всякаго сомнѣнія это былъ характеръ положительный и притомъ — убѣжденный практикъ. Такіе люди не вздоръ въ наше время, да и ни въ какое иное время они не бываютъ вздоромъ.

Старецъ все дѣлалъ умно, отчетливо и съ соображеніемъ; онъ вошелъ въ вагонъ раньше всѣхъ другихъ и потому выбралъ себѣ наилучшее мѣсто, къ которому искусно присоединилъ еще два сосѣднія мѣста и твердо удержалъ ихъ за собою посредствомъ мастерской, очевидно заранее обдуманной, раскладки своихъ дорожныхъ вещей. Онъ имѣлъ при себѣ дѣлая три подушки очень большихъ размѣровъ. Эти подушки сами по себѣ уже составляли добрый багажъ на одно лицо, но онѣ были такъ хорошо гарнированы, какъ будто каждая изъ нихъ принадлежала отдѣльному пассажиру: одна изъ подушекъ была въ синемъ кубовомъ ситцѣ съ желтыми незабудками, — такія чаще всего бываютъ у путниковъ изъ сельскаго духовенства; другая — въ красномъ кумачѣ, что въ большемъ употребленіи по купечеству, а третья — въ толстомъ полосатомъ тикѣ — это уже настоящая штабсъ-капитанская. Пассажиръ, очевидно, не искалъ ансамбли, а искалъ чего-то болѣе существеннаго, — именно приспособительности къ другимъ гораздо болѣе серьезнымъ и существеннымъ дѣлямъ.

Три разноперстныя подушки могли кого угодно ввести въ обманъ, что занятія ими мѣста принадлежатъ тремъ разнымъ лицамъ, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кромѣ того, мастерски задѣланныя подушки имѣли не совсѣмъ одно то простое названіе, какое можно было придать имъ по первому на нихъ взгляду. Подушка въ полосатомъ тикѣ была собственно чемоданъ и погребецъ и на этомъ основаніи она пользовалась преимущественнымъ передъ другими вниманіемъ своего владѣльца. Онъ помѣстилъ ее *vis-à-vis* передъ собою, и какъ только поѣздъ отвалилъ отъ амбаркадера, — тотчасъ же облегчилъ и послабилъ ее, растегнувъ для того у ея наволочки бѣлыя костяныя пуго-

вицы. Изъ пространнаго отверстія, которое теперь образовалось, онъ началъ вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, въ которыхъ оказались сыръ, икра, колбаса, сайки, антоновскія яблоки и ржевская пастила. Всего веселѣе выглянула на свѣтъ хрустальная фляжка, въ которой находилась удивительно пріятнаго фіолетоваго цвѣта жидкость съ извѣстною старинною надписью: «Ея же и монаси приѣмлять». Густой аметистовый цвѣтъ жидкости былъ превосходный и вкусъ, вѣроятно, соотвѣтствовалъ чистотѣ и пріятности цвѣта. Знатоки дѣла увѣряютъ, будто это никогда одно съ другимъ не расходится.

Во все время, пока прочіе пассажиры спорили о жидкахъ, объ отечествѣ, объ измельчаніи характеровъ и о томъ, какъ мы «во всемъ сами себѣ нанюргили», и, — вообще занимались «оздоровленіемъ корней» — бѣловласый богатырь сохранялъ величавое спокойствіе. Онъ держалъ себя, какъ человѣкъ, который знаетъ, когда ему придетъ время сказать свое слово, а пока — онъ просто кушалъ разложенную имъ на полосатой подушкѣ провизію и вынулъ три или четыре рюмки той аппетитной влаги «ея же и монаси приѣмлять». Во все это время онъ не проронилъ ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнѣйшее дѣло было окончено какъ слѣдуетъ, и когда весь буфетъ былъ имъ снова тщательно убранъ, — онъ щелкнулъ складнымъ ножомъ и закурилъ съ собственной спички невѣроятно толстую, самодѣльную папиросу, потомъ вдругъ заговорилъ и сразу завладѣлъ всеобщимъ вниманіемъ.

Говорилъ онъ громко, внушительно и смѣло, такъ что никто не думалъ ему возражать или противорѣчить, а, главное, онъ ввелъ въ бесѣду живой и общезанимательный любовный элементъ, къ которому политика и цензура нравовъ примѣшивалась только слегка, лѣвою стороною, не докучая и не портя живыхъ приключеній мимо протекающей жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Онъ началъ рѣчь свою очень деликатно, — какимъ-то чрезвычайно пріятнымъ и въ своемъ родѣ даже красивымъ обращеніемъ къ пребывающему здѣсь «обществу», а потомъ и перешелъ прямо къ предмету давнихъ и нынѣ столь обыденныхъ сужденій.

— Видите ли,—сказалъ онъ:— мнѣ все это, о чемъ вы говорили, не только не чуждо, но даже, вѣрнѣе сказать, очень знакомо. Мнѣ, какъ видите, уже не мало лѣтъ,— я много жилъ и могу сказать — много видѣлъ. Все, чтó вы говорите про жидовъ и поляковъ,— это все правда, но все это идетъ отъ нашей собственной русской, глупой деликатности: все хотимъ всѣхъ деликатнѣй быть. Чужимъ мирволимъ, а своихъ давимъ. Мнѣ это, къ сожалѣнiю, очень извѣстно и даже больше того, чѣмъ извѣстно: я это испыталъ на самомъ себѣ-сѣ; но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось и напоминаетъ мнѣ одну роковую исторiю. И, положимъ, не принадлежу къ прекрасному полу, къ которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы могъ позанять много султана не пустыми разказами. Жидовъ я очень знаю, потому что живу въ этихъ краяхъ и здѣсь постоянно ихъ вижу, да и въ прежнее время, когда еще въ военной службѣ служилъ, и когда по роковому случаю городничимъ былъ, такъ не мало съ ними повозился. Случалось у нихъ и деньги заимать, случалось и за пейсы ихъ трепать и въ шею выталкивать, всего приводилъ Богъ,— особенно когда жидъ придетъ за процентами, а заплатить нечѣмъ. Но бывало, что я и хлѣбъ-соль съ ними водилъ, и на свадьбахъ у нихъ бывалъ, и мацу, и ругель, и аманово ухо у нихъ ѣлъ, а къ чаю ихъ булки съ чернушкой и теперь предпочитаю непропеченой сайкѣ, но того, чтó съ ними теперь хотять дѣлать,—этого я не понимаю. Нынче о нихъ вездѣ говорятъ и даже въ газетахъ пишутъ... Изъ-за чего это? У насъ, бывало, простохватишь его чубукомъ по спинѣ, а если онъ очень дерзкiй, то клюквой въ него выстрѣлишь,—онъ и бѣжить. И жидъ бѣльшаго не стѣдитъ, а выводитъ его совсѣмъ въ расходъ не надо, потому что при случаѣ жидъ бываетъ человекъ полезный.

Что же касается въ разсужденiи всѣхъ подлостей, которыя евреямъ приписываютъ, такъ я вамъ скажу, это ничего не значить передъ молдаванами и еще валахами, и что я съ своей стороны предложилъ бы, такъ это не вводить жидовъ въ утробы, ибо это и невозможно, а помянуть, что есть люди хуже жидовъ.

— Кто же, напримѣръ?

— А, напримѣръ, румыны-сѣ!

— Да, про нихъ тоже нехорошо говорить,—отозвался солидный пассажиръ съ табакеркой въ рукахъ.

— О-о, батюшка мой! — воскликнулъ, весь оживившись, нашъ старецъ:—повѣрьте мнѣ, что это самые худшіе люди на свѣтѣ. Вы о нихъ только слыхали, но по чужимъ словамъ, какъ по лѣстницѣ, можно чортъ знаетъ куда залѣзть, а я все самъ на себѣ испыталъ и, какъ православный христіанинъ, я свидѣтельствую, что хотя они и одной съ нами православной вѣры, такъ что, можетъ-быть, намъ за нихъ когда-нибудь еще и воевать придется, но это такіе подлецы, какихъ другихъ еще и свѣтъ не видалъ.

И онъ намъ разсказалъ нѣсколько плутовскихъ приемовъ, практикующихся или нѣкогда практиковавшихся въ тѣхъ мѣстахъ Молдавіи, которыя онъ посѣщалъ въ свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффектно, такъ что бывший средь прочихъ слушателей пожилой лысый купецъ даже зѣвнулъ и сказалъ:

— Это и у насъ музыка извѣстная!

Такой отзывъ оскорбилъ богатыря, и онъ, слегка сдвинувъ брови, молвилъ:

— Да, разумѣется, русскаго торговаго человѣка плутомъ не удивишь!

Но вотъ разсказчикъ оборотился къ тѣмъ, которые ему казались просвѣщеннѣе, и сказалъ:

— Я вамъ, господа, если на то пошло, разскажу анекдотикъ изъ ихняго привилегированнаго - то класса; разскажу про ихъ номѣщичьи права. Тутъ вамъ кстати будетъ и про эту нашу дымку очесь, черезъ которую мы на все смотримъ, и про деликатность, которою только своимъ и себѣ вредимъ.

Его, разумѣется, попросили, и онъ началъ, пояснивъ, что это составляетъ и одинъ изъ очень достопримѣчательныхъ случаевъ его боевой жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Разсказчикъ началъ такъ:

Человѣкъ, знаете, всего лучше познается въ деньгахъ, въ картахъ и въ любви. Говорятъ, будто еще въ опасности на морѣ, но я этому не вѣрю, — въ опасности иной трусъ развоюется, а смѣльчакъ спасуетъ. Карты и лю-

бовь... Любовь даже можетъ быть важнѣй картъ, потому что всегда и вездѣ въ модѣ: поэтъ это очень правильно говорить: «любовь царить во всѣхъ сердцахъ», безъ любви не живутъ даже у дикихъ народовъ,—а мы, военные люди, ею «всѣ движемся и есьми». Положимъ, что это сказано въ разсужденіи другой любви, однако, что попы или сочиняй,—всякая любовь есть «влеченіе къ предмету». Это у Курганова сказано. А вотъ предметъ предмету рознь,—это правда. Впрочемъ, въ молодости, а для другихъ даже еще и подъ старость, самый общеупотребительный предметъ для любви все-таки составляетъ женщина. Никакіе проповѣдники этого не могутъ отмѣнить, потому что Богъ ихъ всѣхъ старше и какъ Онъ сказалъ: «не благо быть чело-вѣку одному», такъ и остается.

Въ наше время у женщинъ не было вышнихъ мечтаній о независимости, — чего я, впрочемъ, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, такъ что вѣрность имъ даже можно въ грѣхъ поставить. Не было тогда и этихъ гражданскихъ браковъ, какъ нынче завелось. Тогда на этотъ счетъ холостежь была осторожнѣе и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящіе, въ церкви иѣтые, при которыхъ обычаемъ не возбранялась свободная любовь къ военнымъ. Этого грѣха, какъ и въ романахъ Лермонтова, видно было дѣйствительно очень много, но только происходило все это по-раскольнически, то-есть «безъ доказательствъ». Особенно съ военными: народъ черехожій, нигдѣ корней не пускали: нынче здѣсь, а завтра затрубимъ и на другомъ мѣстѣ очутимся — слѣдовательно, что шито, что вито, — все позабыто. Стѣспенья никакого. Зато насъ и любили, и ждали. Куда, бывало, въ какой городишко полкъ вы вступить, — какъ на званый ширъ, сейчасъ и закипѣли шуры-муры. Какъ только офицеры почистятся, поправятся и выйдутъ гулять, такъ уже въ прелестныхъ маленькихъ домикахъ окна у барышень открыты и оттуда летитъ звукъ фортепіано и пѣніе. Любимый романсъ былъ:

«Какъ хорошь,—не правда-ль, мама,
Постоялецъ нашъ удалый,
Мундиръ золотомъ весь шитый
И какъ жарь горять ланиты,

Боже мой,
Боже мой,
Ахъ, когда бы онъ былъ мой».

Ну ужъ, разумѣется, изъ какого окна услышать это гѣ-
піе — туда глазомъ и мечень — и никогда не даромъ. Вѣ-
 тотъ же день къ вечеру, бывало, уже полетять черезъ
денщиковъ и записочки, а потомъ пойдуть порхать къ
господамъ офицерамъ горничныя... Тоже не нынѣшнія суб-
ретки, но крѣпостныя, и это были самыя безкорыстныя со-
зданія. Да мы, разумѣется, имъ часто и платить ничѣмъ
инымъ не могли, кромѣ какъ поцѣлуями. Такъ и начи-
наются, бывало, любовныя успѣхи съ посланницъ, а кон-
чатся съ пославшими. Это даже въ водевилѣ у актера
Григорьева на театрахъ въ кушетѣ цѣли:

«Чтобъ съ барышней слюбиться,
За дѣвкой-волочись».

При крѣпостномъ званіи горничною не называли, а про-
сто — дѣвка.

Ну, понятно, что при такомъ лестномъ вниманіи всѣ мы
военные люди, были чертовски женщинами избалованы!
Тронулись изъ Великой Россіи въ Малороссію — и тамъ
то же самое; пришли въ Польшу — а тутъ этого добра еще
больше. Только польки ловкія — скоро женить нашихъ на-
чали. — Намъ командиръ сказалъ: «смотрите, господа, осто-
рожно», и дѣйствительно у насъ Богъ спасалъ — женитьбы
не было. Одинъ былъ влюбленъ такимъ образомъ, что по-
бѣждалъ предложеніе дѣлать, но засталъ свою будущую тещу
наединѣ и, къ счастью, ею самую такъ увлекся, что уже не
сдѣлалъ дочери предложенія. И удивляться нечему, что
были успѣхи — потому что народъ молодой и вездѣ встрѣ-
чали пылъ страсти. Нынѣшняго житія, вѣдь, тогда въ
образованныхъ классахъ не было... Внизу тамъ, конечно,
пищали, но въ образованныхъ людяхъ просто зудъ любов-
ный одолевалъ, и притомъ внѣшность много значила. Дѣ-
вицы и замужня признавались, что чувствуютъ этакое,
можно сказать, какое-то безотчетное замираніе при одной
военной формѣ... Ну, а мы знали, что на то селезню дано
въ крылья зеркальце, чтобы утицѣ въ него поглядѣться
хотѣлось. Не мѣшали имъ собой любоваться...

Изъ военныхъ не много было женатыхъ, потому что бѣд-
ность содержанія, и скучно. Женившись: тащисъ самъ на

лошадкѣ, жена на коровкѣ, дѣти на теляткахъ, а слуги на собачкахъ. Да и къ чему, когда и одинокіе тоски жизни одинокой, по милости Божіей, никогда нимало не испытывали. А ужъ о тѣхъ, которые собою поавантажише, или могли пѣть, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда имъ дѣваться отъ рога избылія. Случалось даже, въ придачу къ ласкамъ и очень дѣвныя бездѣлушки получали, и то такъ, понимаете, что отбиться отъ нихъ нельзя... Просто даже бывали случаи, что отъ одного случая вся, бѣдняжка, вскроется, какъ кладъ отъ аминя, и тогда непременно забирай у нея что отдасть, а то сначала на колѣняхъ просить, а потомъ обидится и заплачетъ. Вотъ у меня и посейчасъ одна такая завитная балаболка на рукѣ застряла.

Разсказчикъ показалъ намъ руку, на которой на одномъ толстомъ, одеревянѣломъ пальцѣ запыль старинной работы золотой амальгированный перстень съ довольно крупнымъ алмазомъ. Затѣмъ онъ продолжалъ разсказъ:

Но такой нынѣшней гнусности, чтобы съ мужчиной чѣмъ-нибудь пользоваться, этого тогда даже и въ намекахъ не было. Да и куда, и на что? Тогда, вѣдь, были недостатки отъ имѣній, и притомъ еще и простота. Особенно въ уѣздныхъ городкахъ, вѣдь, чрезвычайно просто жили. Ни этихъ нынѣшнихъ клубовъ, ни букетовъ, за которые надо деньги заплатить и потомъ бросить, не было. Одѣвались со вкусомъ,—мило, но простенько; или этакій шелковый марселинецъ, или цвѣтная кисейка, а очень часто и пренебрегали даже и ситчиномъ или даже какою-нибудь дешевенькою цвѣтною холстинкою. Многія барышни еще для экономіи и фартучки и бертельки носили съ разными этакими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многимъ шло. А прогулки и всѣ эти радешушки совершались совсѣмъ не по-нынѣшнему. Никогда не приглашали дамъ куда-нибудь въ загородные кабаки, гдѣ только за все деругъ вдесятеро, да въ шелки подма-триваютъ. Боже сохрани! Тогда дѣвушка или дама со стыда бы сгорѣла отъ такой мысли, и ни за что бы не поѣхала въ подобныя мѣста, гдѣ мимо одной лакузы-то пройти—все равно, какъ сквозь строй! И вы сами ведете свою даму подъ руку, видите какъ тѣ подлецы за вашими плечами зубы скалятъ, потому что въ ихъ холодецкихъ гла-

захъ, что честная дѣвица, или женщнна, увлекаемая любовною страстію, что какаѣ-нибудь дама изъ Амстердама— это все равно. Даже если честная женщина скромнѣ себя держитъ, такъ они о ней еще ниже судятъ.

— «Тутъ, дескать, много поживы не будетъ: по барынкѣ и говядинка».

Пынче этимъ манкируютъ, по тогдашняя дама обидѣлась бы, если бы ей предложить хотя бы самое пріятное уединеніе въ такомъ мѣстѣ.

Тогда былъ вкусъ и всѣ искали, какъ все это облагородить, и облагородить не какимъ-нибудь фанфаронствомъ, а именно изящной простотою, — чтобы даже ничто не подавало воспоминаній о презрѣнномъ металлѣ. Влюбленные всего чаще шли, напримѣръ, гулять за городъ, рвать въ цвѣтущихъ поляхъ васильки или гдѣ-нибудь надъ рѣчечкой подъ лозою рыбу удить, или вообще что-нибудь другое такое невинное и простосердечное. Она выйдетъ съ своею крѣпостною, а ты и сидишь на рубежкѣ, поджидаешь. Дѣвушкѣ, разумѣется, оставишь гдѣ-нибудь на межѣ, а съ барышней углубишься въ чистую зрѣющую рожь... Это колосья, небо, букашки разные по стебелькамъ и по землѣ ползають... А съ вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знаетъ, что говорить съ военнымъ, и точно у естественнаго учителя спрашиваетъ у васъ: «какъ выдумаете: это букашъ или букашка?..» Ну, что тутъ думать: букашка это или букашъ, когда съ вами наединѣ и на вашу руку опирается такой живой, чистѣйшій ангелъ! Закружатся головы и, кажется, никто не виноватъ и никто ни за что отвѣчать не можетъ, потому что не поги тебѣ несутъ, а самое поле въ лѣсъ уплываетъ, гдѣ такіе дубы и клены, и въ ихъ тѣни задумчивы дріады!.. Ни съ тѣмъ, ни съ тѣмъ въ мірѣ не сравнимое состояніе блаженства! Святое и безмятежное счастье!..

Разсказчикъ такъ увлекся воспоминаніями высокихъ минутъ, что на минуту умолкъ. А въ это время кто-то тихо замѣтилъ, что для дріады это начиналось хорошо, но кончалось не безъ хлопотъ.

— Ну да, — отозвался повѣствователь: — послѣ, разумѣется, ницъ что на орлѣ, на лѣвомъ крылѣ. Но я о себѣ-то, о кавалерахъ только говорю: мы привыкли принимать себѣ такое женское вниманіе и сакрифисы въ простотѣ,

безъ разсужденій, какъ даръ Венеры Марсу слѣдующій, и ничего продолжительнаго ни для себя не требовали, ни сами не общали, а пришли да взяли — и поминай какъ звали. Но вдругъ крутой переломъ! Вдругъ прямо изъ Польши намъ пришло совершенно неожиданное назначеніе въ Молдавію. Поляки мужичины страсть какъ намъ этотъ румынскій край расхваливали: «тамъ, говорятъ, куконь, то-есть эти молдаванскія дамы, — такая краса природы совершенство, какъ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ. И любовь у нихъ, будто, получить ничего не стоитъ, потому что онѣ ужасно пламенные».

Что же, — мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Изъ послѣдняго тунуса, передъ выходомъ всякихъ перчатокъ, помадь и духовъ себѣ въ Варшавѣ понакупили и идутъ съ этимъ запасомъ, чтобы куконь сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваемъ.

Затрубили, въ бубны застучали и вышли съ веселою пѣсню:

«Мы любовницъ оставляемъ,
Оставляемъ и друзей.
Въ шумномъ видѣ представляемъ
Пулей свистъ и звукъ мечей».

Ждали себѣ ни вѣсть какихъ благодатей, а вышло дѣло съ такою развязкою, какой никакимъ образомъ невозможно было представить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вступали мы къ нимъ со всеѣмъ русскимъ радушіемъ, потому что молдаване все православные, но страна ихъ намъ съ перваго же впечатлѣнія не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляныя груши прекрасныя, но климатъ нездоровый. Очень многіе у насъ еще на походѣ переболѣли, а къ тому же ни привѣтливости, ни благодарности нигдѣ не встрѣчаемъ.

Что ни понадобится — за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, безъ денегъ у молдава возьмутъ, такъ онъ, чумазый, заголоситъ, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему — бери свои костыли, — только не голоси, такъ онъ сирячетъ и самъ уйдетъ, такъ что его, чортадохматаго, нигдѣ и не отыщешь. Иной разъ даже проводить

пли дорогу показать станеть и некому — всё разбѣгутся. Трусиинки единственные въ мірѣ, и въ низшемъ классѣ у нихъ мы ни одной красивой женщины не замѣтили. Однѣ дѣвчонки чумазыя, да пребезобразнѣйшія старухи.

Ну, думаемъ себѣ, можетъ быть у нихъ это такъ только въ хуторахъ придорожныхъ: тутъ всегда народъ бываетъ похуже; а вотъ придемъ въ городъ, тамъ измѣнится. Не могли же поляки совсѣмъ безъ основанія насъ увѣрять, что здѣсь хороши и куконны! Гдѣ онѣ, эти куконны? посмотримъ.

Пришли въ городъ, анъ и здѣсь то же самое: за все рѣшительно извольте платить.

Въ разсужденіи женской красоты поляки сказали правду. Куконны и куконицы намъ очень понравились—очень томны и такъ гибки, что даже полекъ превосходятъ, а вѣдь ужъ польки, знаете, славятся, хотя онѣ на мой вкусъ немножко большеваты, и притомъ въ характерѣ капризовъ у нихъ много. Пока доидеть до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цю намъ размова»—волью ей накланяешься. Но въ Молдавіи совсѣмъ другое—тутъ во всемъ жидъ дѣйствуетъ. Да-съ, простой жидъ и безъ него никакой поэзии нѣтъ. Жидъ является къ вамъ въ гостиницу и спрашиваетъ: не тиготитесь ли вы одиночествомъ и не причуяли ли какую-нибудь куконну?

Вы ему говорите, что его услуги вамъ не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, напримѣръ, такую-то или такую-то дамою, которую вы видѣли, напримѣръ скажете, въ такомъ-то или такомъ-то домѣ подъ шелковымъ шатромъ на балконѣ. А жидъ вамъ отвѣчаетъ: «можно».

Поневоля окрикъ дашь:

— Что такое «можно»?!

Отвѣчаетъ, что съ этою дамою можно имѣть компанію, и сейчасъ же предлагаетъ, куда надо выѣхать за городъ, въ какую кофейню, куда и она пріѣдетъ туда съ вами кофе пить. Сначала думали—это вранье, но нѣтъ-съ, не вранье. Ну, съ нашей мужской стороны, разумѣется, препятствій нѣтъ, всё мы уже что-нибудь присмотрѣли и причуяли и всё готовы вмѣстѣ съ какою-нибудь куконною за городъ кофе пить.

Я тоже сказалъ про одну куконну, которую видѣлъ на балконѣ. Очень красивая. Жидъ сказалъ, что она богатая и всего одинъ годъ замужемъ.

— Что-то ужъ, знаете, очень хорошо показалось, такъ что даже и плохо вѣрится. Переспросилъ еще разъ, и опять то же самое слышу: богатая, годъ замужемъ и кофе съ нею пить можно.

— Не врешь ли ты?—говорю жиду.

— Зачѣмъ врать? отвѣчаетъ,—я все честно сдѣлаю: вы сидите сегодня вечеромъ дома, а какъ только смеркнется къ вамъ придетъ ея няня.

— А мнѣ на какой чортъ нужна ея няня?

— Иначе нельзя. Это здѣсь такой порядокъ.

— Ну, если такой порядокъ, то дѣлать нечего, въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ. Хорошо; скажи ея нянѣ, что я буду сидѣть дома и буду ея дожидаться.

— И огня, говорить,—у себя не зажигайте.

— Это зачѣмъ?

— А чтобы думали, что васъ дома нѣтъ.

Пожалъ плечами и на это согласился.

— Хорошо, говорю,—не зажгу.

Въ заключеніе жидъ съ меня за свои услуги червонецъ потребоваль.

— Какъ, говорю,—червонецъ! Ничего еще не видя, да ужъ и червонецъ! Это жирно будетъ.

По онъ, шельма этакій, должно быть травленный.

Улыбается и говорить:

— Нѣтъ; ужъ послѣ того какъ увидите — поздно будетъ получать. Военные, говорятъ, тогда не того...

— Ну, говорю,—про военныхъ ты не смѣй разсуждать,—это не твое дѣло, а то я разобью тебѣ морду и рыло и скажу, что оно такъ и было.

А впрочемъ, дать ему злата и проклясть его и вѣрнаго позвать раба своего.

Дать денщику двугривенный и говорю:

— Ступай куда знаешь и нарѣжься какъ сапожникъ, только чтобы вечеромъ тебя дома не было.

Все, замѣчайте, прибавляется расходъ къ расходу. Совсѣмъ не то, что васильки рвать. Да можетъ быть еще и виньку надо позолотить.

Наступилъ вечеръ; товарищи всѣ разошлись по кофейнямъ. Тамъ тоже дѣвѣнцы служатъ и есть довольно любопытныя,—а я притворился, солгалъ товарищамъ, будто зубы болятъ и будто мнѣ надо пойти въ лазаретъ къ фельдшеру

какихъ-нибудь зубныхъ капель взять, или совѣмъ пускай зубъ выдернетъ.—Обѣжалъ поскорѣй кварталъ да къ себѣ въ квартиру, — нырнулъ незамѣтно; двери отперъ и сѣлъ безъ огня при окошечкѣ. Спужу какъ дуракъ, дожидаясь: пульсъ колотится и въ ухахъ стучить. А у самого уже и сомнѣніе закралось, думаю: не обманулъ ли меня жидъ, не наговорилъ ли онъ мнѣ про эту няньку, чтобы только червонецъ себѣ схватить... И теперь гдѣ-нибудь другимъ жидамъ хвалятся, какъ онъ офицера надулъ, и всѣ помирають, хохочуть. И въ самомъ дѣлѣ, съ какой стати тутъ няня и что ей у меня дѣлать?.. Преглуное положеніе, такъ что я уже рѣшилъ: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду къ товарищамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вдругъ, я и полсотни не сосчиталъ, раздался тихонечко стукъ въ двери и что-то такое вползаетъ, — шуршитъ этакимъ чѣмъ-то твердымъ. Тогда у нихъ шалоновыя мантоны носили длинныя, а шалонъ шуршитъ.

Безъ свѣчи-то темно у меня такъ, что ничего ясно не размотришь, что это за кукуруза.

Только отъ уличнаго фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенція. И однако, и эта съ предосторожностями, такъ что на лицѣ у нея вуаль.

Вошла и шепчетъ:

— Гдѣ ты?

Я отвѣчаю:

— Не бойся, говори громко: никакого пѣтъ, а я ожидаюсь, какъ сказано. Говори, когда же твоя куколка поѣдетъ кофе пить?

— Это, говорить,—отъ тебя зависить.

И все шопотомъ.

— Да я, говорю,—всегда готовъ.

— Хорошо. Что же ты мнѣ велишь ей передать?

— Передай, молъ, что я ею пораженъ, влюбленъ, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, напри- мѣръ, завтра вечеромъ.

— Хорошо, завтра она можетъ пріѣхать.

Кажется вѣдь надо бы ей постѣ этого уходить,—не такъ ли? Но она стоитъ-сь!

— Чего-съ!

Надо, видно, проститься еще съ однимъ червонцемъ. Себѣ бы онъ очень пригодился, но ужъ нечего дѣлать — хочу ей червонецъ подать, какъ она вдругъ спрашиваетъ:

— Согласенъ ли я сейчасъ съ нею послать куконѣ *триста червонцевъ*?

— Что-о-о тако-о-о-е?

Она преспокойно повторяетъ: «триста червонцевъ», и починаетъ мнѣ шептать, что мужъ ея куконъ хотя и очень богатъ, но что онъ ей не вѣрепъ и проживаетъ деньги съ итальянскою графиньей, а кукона совсѣмъ имъ оставлена и даже должна на свой счетъ весь гардеробъ изъ Парижа вынсмывать, потому что не хочетъ хуже другихъ быть...

То-есть вы понимаете меня, — это чортъ знаетъ что такое! Триста золотыхъ червонцевъ — ни больше, ни меньше!.. А вѣдь это-съ тысяча рублей! Полковничье жалованье за цѣлый годъ службы!.. Милліонъ картечей! Какъ это выговорить и предъявить такое требованіе къ офицеру? Но, однако, я нашелся: червонецъ у меня, думаю, столько нѣтъ, но честь свою я поддержать долженъ.

— Деньги, говорю, — для насъ, русскихъ, пустяки. — Мы о деньгахъ не говоримъ, но кто же мнѣ поручится, что ты ей передашь, а не себѣ возьмешь мои триста червонцевъ?

— Разумѣется, отвѣчаетъ, — я ей передамъ.

— Нѣтъ, говорю, — деньги дѣло не важное, но я не желаю быть тобою одураченъ. — Пусть мы съ нею увидимся, и я ей самой, можетъ-быть, еще больше дамъ.

А кукуруза вломилась въ амбицію и начала наставленіе мнѣ читать.

— Что ты это, говорить, — развѣ можно, чтобы кукона сама брала.

— А я не вѣрю.

— Ну, такъ иначе, говорить, — ничего не будетъ.

— И не надобно.

Такими она меня впечатлѣніями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовалъ, и очень радъ былъ, когда ее чортъ отъ меня унесъ.

Пошелъ въ кофейню къ товарищамъ, напился вина до чрезвычайности и проводилъ время, какъ и прочіе, по-ка-

валерски; а на другой день пошелъ гулять мимо дома, гдѣ жила моя приглаголенная кукона, и вижу, она какъ святая сидитъ у окна въ зеленомъ бархатномъ спенсерѣ, на груди яркѣй махровый розанъ, воротъ низко вырѣзанъ, голая рука въ широкомъ распашномъ рукавѣ, шитомъ золотомъ, и тѣло... этакое удивительное розовое... изъ зеленого бархата, совершенно какъ арбузъ изъ кожи, выглядываетъ:

Я не стерпѣлъ, подскочилъ къ окну и заговорилъ:

— Вы меня такъ измучили, какъ женщина съ сердцемъ не должна; я томился и ожидалъ минуты счастья, чтобы гдѣ-нибудь видѣться, но вмѣсто васъ пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчетъ которой я, какъ честный человѣкъ, долгомъ считаю васъ предупредить: она ваше имя мараетъ.

Кукона не сердится; я ей брикнулъ, что старуха деньги просила,—она и на это только улыбается. Ахъ ты чортъ возьми! зубки открыла — просто перлы средь коралловъ, — все очаровательно, но какъ будто дурочкой отъ нея немножко пахнуло.

— Хорошо, говорить,—я няню опять пришлю.

— Кого? эту же самую старуху?

— Да; она нынче вечеромъ опять придетъ.

— Помилуйте, говорю,—да вы, вѣрно, не знаете, что эта алчная старуха какую не стоящую уваженія особую васъ представляетъ!

А кукона вдругъ уронила за окно платокъ, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевѣсилась такъ, что вырѣзъ-то этотъ проклятый въ ея лифѣ весь передо мною, какъ дѣтскій бумажный корабликъ, вывернулся, а сама шепчетъ:

— Я ей скажу... она будетъ добрѣе.— И съ этимъ окно токъ на крюкъ.

«Я ее вечеромъ опять пришлю». «Я велю быть добрѣе». Вѣдь тутъ уже не все глупость, а есть и смѣлая дѣловитость... И это въ такой молоденькой и въ такой хорошенькой женщинѣ!

Любопытно, и кого это не заинтересуетъ? Ребенокъ, а несомнѣнно, что она все знаетъ и все сама ведетъ и сама эту чертовку ко мнѣ присылала и опять ее пришлетъ.

И взять терпѣнiе, думаю: дѣлать нечего, буду опять дожидаться, чѣмъ это кончится.

Дождлся сумерекъ и опять пританлся, и жду въ потемкахъ. Входитъ опять тотъ же самый шалоновый свертокъ подъ вуалемъ.

— Что, спрашиваю, — скажешь?

Она мнѣ шопотомъ отвѣчаетъ:

— Кукона въ тебя влюблена и съ своей груди розу тебѣ прислала.

— Очень, говорю, — ее благодарю и цѣню, — взялъ розу и поцѣловалъ.

— Ей отъ тебя не надо трехсотъ червонцевъ, а только полтора.

Хорошо сожалѣніе... Сбавка большая, а все-таки полтора червонцевъ пожалуйста. Шутка сказать! Да у насъ рѣшительно ни у кого тогда такихъ денегъ не было, потому что мы, выходя изъ Польши, совсѣмъ не такъ были обнадежены и закупили себѣ что нужно и чего не нужно, — всякаго платья себѣ нашили, чтобы здѣсь лучше себя показать, а о томъ, какіе здѣсь порядки, даже и не думали.

— Поблагодари, говорю, — твою кукону, а ѣхать съ розою на свиданіе не хочу.

— Отчего?

— Ну вотъ еще: отчего? не хочу да и баста.

— Развѣ ты бѣдный? Вѣдь у васъ всѣ богатые. Или кукона не красавица?

— И я, говорю, — не бѣдный, у насъ нѣтъ бѣдныхъ, — и твоя кукона большая красавица, а мы къ такому обращенію съ нами не привыкли!

— А вы какъ же привыкли?

— Я говорю: — Это не твое дѣло.

— Нѣтъ, — говоритъ, — ты мнѣ скажи: какъ вы привыкли, можетъ-быть и это можно.

А я тогда всталъ, пріосанился и говорю:

— Мы вотъ какъ привыкли, что на то у селезня въ крыльяхъ зеркальце, чтобы уточка сама за нимъ бѣжала глядѣться.

Она вдругъ расхохоталась.

— Тутъ, говорю, — ничего нѣтъ смѣшного.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, говоритъ: — это смѣшное!

И убѣжала такъ скоро, словно улетѣла.

Я опять разстроился, пошелъ въ кофейню и опять напился.

Молдавское вино у нихъ дешево. Кислить немножко, но пить очень можно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

На другое утро, государи мои, еще лежу я въ постели, какъ приходитъ ко мнѣ жидъ, который самъ собственно и ввелъ меня во всю эту дурацкую исторію, и вдругъ пришелъ просить себѣ за что-то еще червонецъ.

— Я говорю:—за что же это ты, мой любезный, стѣишь еще червонца?

— Вы, говорить,—мнѣ сами обѣщали.

Я припоминаю, что, дѣйствительно, я ему обѣщаль другой червонецъ, но не иначе, какъ послѣ того, какъ я буду уже имѣть свиданіе съ куконей.

Такъ ему и говорю. А онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— А вы же съ нею уже два раза видѣлись.

— Да, молъ,—у оконика. Но это недостаточно.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ:—она два раза у васъ была.

— У меня какой-то чортъ старый былъ, а не кукона.

— Нѣтъ, говорить,—у васъ была кукона.

— Не ври, жидъ,—за это вашего брата бьютъ!

— Нѣтъ, я, говорить,—не вру: это она сама у васъ была, а не старуха. Она вамъ и свою розу подарила, а старухи... у нея совѣсьмъ нѣтъ никакой старухи.

Я свое достоинство сохранилъ, но это меня просто ошпарило. Такъ мнѣ стало досадно и такъ горько, что я вѣщился въ жиду и исколотилъ его ужасно, а самъ пошелъ и нарѣзался молдавскимъ виномъ до безпамятства. Но и въ этомъ-то положеніи никакъ не забуду, что кукона у меня была и я ея не узналъ и какъ ворона ее изъ рукъ выпустилъ. Недаромъ мнѣ этотъ шалоновый свертокъ какъ-то былъ подозрителенъ... Словомъ, и больно, и досадно, но стыдно такъ, что хоть сквозь землю провалиться... Былъ въ рукахъ кладъ, да не умѣлъ брать,—теперь сиди дуракомъ.

Но, къ утѣшенію моему, въ то же самое время, въ подобныхъ же родахъ произошла исторія и съ другими моими боевыми товарищами, и всѣ мы съ досады только пили, да арбузы ѣли съ кофейницами, а настоящихъ куконъ ужъ порѣшили наказать презрѣніемъ.

Васильковое наше время невинныхъ успѣховъ кончилось. Скучно было безъ женщинъ порядочнаго образованнаго круга

въ сообществѣ однѣхъ кофейницъ, по старымъ отцы капитаны насъ куражили.

— Неужели, говорили,—если въ одномъ саду яблоки не зародились, такъ и Спасова дня не будетъ? Куражь, братцы! Собой поправкой красенъ.

Куражились мы тѣмъ, что насъ скоро выведутъ изъ города и расквартируютъ по хуторамъ. Тамъ помѣщичьи барышни и вообще все общество, должно-быть, не такое, какъ городское, и подобной скаредности, какъ здѣсь, быть не можетъ. Такъ мы думали и не воображали того, что тамъ насъ ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочемъ, и предвидѣть невозможно было, чѣмъ насъ одолжатъ въ ихъ деревенской простотѣ. Пришелъ вождѣльный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» заплѣли и вышли на вольный воздухъ.

— Авось, молъ, тутъ опять заголубѣютъ для насъ васильки!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Распредѣленіе, гдѣ кому стоять, намъ вышло самое разпобивуачное, потому что въ Молдавіи на заграничный манеръ,—такихъ большихъ деревень, какъ у насъ, нѣтъ, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе къ мызѣ Холуянъ, потому что тамъ жилъ самъ бояръ или банъ, тоже по прозванью Холуянъ. Онъ былъ женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о немъ говорили, что онъ большой торгошъ,—у него можно имѣть все, только за деньги—и столъ, и вино. Прежде насъ тамъ по близости другія наши войска стояли, и мы встрѣтили на дорогѣ квартирмейстера, который у Холуяна квитанцію выправлялъ. Обратились къ нему съ разспросами: что и какъ? но онъ былъ изъ полковыхъ стихотворцевъ и все любилъ риомами отвѣчать.

— Ничего, говорить, — мыза хорошая, какъ придете, увидите:

Между горъ, между ямъ
Сидитъ птица Холуянъ.

Предурацкая это манера стихами о дѣлѣ говорить. У такихъ людей ничего путнаго никогда не добьешься.

— А куконы, спрашиваемъ,—есть?

— Какъ же, отвѣчасть:—есть и куконы, есть и препоны.

— Хороши? то-есть красивыя?

— Да, говорить,—красивыя и не очень спесивыя.

Спрашиваемъ: находили ли тамъ ихъ офицеры благорасположеніе?

— Какъ же, тамъ, отвѣчаетъ,—па топцѣ, на древцѣ наши животы скончались.

— Чортъ его знаетъ, что за языкъ такой!—все загадки загадываетъ.

Однако, все мы поняли, что этотъ шельма изъ хитрыхъ и ничего намъ открыть не хотѣлъ.

А только вотъ, хотите вѣрять, хотите вы не вѣрять въ предчувствіе... Ничего вѣдь невѣрїе въ модѣ, а я предчувствіямъ вѣрю, потому что въ бурной жизни моей имѣлъ много тому доказательствъ, но на душѣ у меня, когда мы къ этой мызѣ шли, стало такъ уныло, такъ скверно, что просто какъ будто я на свою казнь шелъ.

Ну, а пути и времени, разумѣется, все убываетъ, и вотъ пока я иду на своемъ мѣстѣ въ раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то изъ переднихъ увидалъ и крикнулъ:

— «Холуянь!»

Прокатило это по рядамъ, а я отчего-то вдругъ вздрогнулъ, но перекрестился и сталъ всматриваться, гдѣ этотъ чертовскій Холуянь.

Однако, и крестъ не отогналъ отъ меня тоски. Въ сердцѣ такое томленіе, какъ описывается, что было на походѣ съ молодымъ Ионааномъ, когда онъ увидалъ сладкій медъ на полѣ. Лучше бы его не было,—не пришлось бы тогда бѣдному юношѣ сказать: «вкусная вкусныхъ мало меду и се азъ умираю».

А мыза Холуянь, дѣйствительно, стояла совсемъ передъ нами и вправду была она между горъ и между ямъ, то есть между такихъ какихъ-то ледащихъ холмушковъ и плюгавенькихъ озерцовъ.

Первое впечатлѣніе она на меня произвела самое отвратительное.

Были уже и какія-то настоящія пустыя ямы, какъ могилы. Чортъ ихъ знаетъ, когда и какими чертями и для кого онѣ выкопаны, но преглубокія. Глину ли изъ нихъ когда-нибудь доставали, или, какъ нѣкоторые говорили, будто бы тутъ есть цѣлебная грязь и будто ею еще римляне пачкались. Но вообще мѣстность прегрустная и престрашная.

Видѣются кой-гдѣ и перелѣсочки, но точно маленькія кладбища. Грунтъ, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитанъ нездоровою сыростью. Настоящее гнѣздо злой молдавской лихорадки, отъ которой людидохнуть въ молдавскомъ поту.

Когда мы подходили вечеркомъ, небо зарилось, этакое ражее, красное, а надъ зеленью синее, какъ будто синія тюль раскинута — такой туманъ. Цвѣтковь и васильковь нѣтъ, а торчатъ только какія-то точно пухомъ осыпанныя будылья, на которыхъ сидятъ тяжелые желтые кувшинны въ родѣ лилій, но прядовитые: какъ чуть его понюхаешь, — сейчасъ носъ распухнетъ. И что еще удивило насъ, какъ тутъ много цапель, точно со всего свѣта собраны, которая летитъ, которая въ водѣ на одной ножкѣ стоитъ. Терпѣть не могу, гдѣ множится эта фараонская птица: она имѣетъ что-то такое, что о всѣхъ египетскихъ казняхъ напоминаетъ. Мыза Холуянгъ довольно большая, но, чортъ ее знаетъ, какъ ее слѣдовало назвать, — дрянная она или хорошая. Очень много разныхъ хозяйственныхъ построекъ, но все какъ-то будто нарочно раскидано «между горъ и между ямъ». Ничего почти одного отъ другого не разглядишь: это въ ямкѣ и то въ ямкѣ, а посреди бугорокъ. Точно какъ будто имѣли въ виду дѣлать здѣсь что-нибудь тайное подъ большимъ секретомъ. Всего вѣроятнѣе, пожалуй, наши русскія деньги поддѣлывали. Домъ помѣщичій, низенькій и очень некрасивый... Облуденный, труба высокая, и снаружи небольшой, но просторный, — говорили, — будто есть комнатъ шестнадцать. Снаружи совсѣмъ похоже на тѣ наши станционные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настроилъ. И буфеты, и конторы, и проѣзжающіе, и смотритель съ семьей, и все это чортъ знаетъ куда вѣзало, и еще просторно. Строено прямо безъ всякаго фасона, какъ фабрика, крыльцо посерединѣ, въ передней буфетъ, прямо въ залѣ бильярдъ, а жилыя комнаты гдѣ-то такъ особенно спрятаны, какъ будто ихъ и нѣтъ. Словомъ, все какъ на станціи или въ дорожномъ трактирѣ. И въ довершеніе этого сходства напоминаю вамъ, что въ передней былъ учрежденъ буфетъ. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господъ офицеровъ», но видѣ-то все-таки странный, а устройство этого буфета сдѣлано тоже съ подлостью, — чтобы ничѣмъ нашего брата безплатно не попог-

чивать, а вотъ какъ: все, что у насъ есть, мы все предоставляемъ къ вашимъ услугамъ, только не угодно ли получить «за чистыя денежки». Кредитъ, положимъ, былъ открытъ свободный, но все, что получали, водку ли или ихъ мѣстное вино, все такой особый хлантъ, въ синемъ жупанѣ съ краснымъ гарусомъ,—до самой мелочи писалъ въ книгу живота. Даже и за ѣду деньги брали; мы сначала къ этому долго никакъ не могли себя пріучить, чтобы въ помѣщичьемъ домѣ и деньги платить. И надо вамъ знать, какъ они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекуръезно. У насъ въ Россіи или въ Польшѣ у хлѣбосольнаго помѣщика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцію. Съ перваго же дня является этотъ жупанъ, обходитъ офицеровъ и спрашиваетъ: не угодно ли будетъ всѣмъ съ помѣщикомъ кушать?

Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень благодарятъ:

— Очень хорошо, говорятъ,—мы очень рады.

— А гдѣ—продолжаетъ жупанъ:—прикажете накрывать на столъ: въ залѣ, или на верандѣ? У насъ, говоритъ,—есть и зала большая, и веранда большая.

— Намъ, говоримъ,—голубчикъ, это все равно, гдѣ хотите.

Нѣтъ-таки, добивается, говоритъ,—бойръ велѣлъ васъ спросить и накрывать столъ непременно по вашему желанію.

— Вотъ, думаемъ,—какая предупредительность!—Накрывай, братъ, гдѣ лучше.

— Лучшее, отвѣчаетъ,—на верандѣ.

— Пожалуй, тамъ должно быть воздухъ свѣжѣе.

— Да, и тамъ полъ глиняный.

— Въ этомъ какое же удобство?

— А если красное вино прольется, или что-нибудь другое, то удобнѣе вытереть и пятна не останется.

— Правда, правда!

Замышляется, видимъ, что-то въ родѣ разливного моря.

Вино у нихъ, положимъ, дешевое, правда, съ привкусомъ, по ничего: есть сорта очень изрядные.

Настаетъ время обѣда. Являемся, садимся за столъ—все честь честью,—и хозяева съ нами: самъ Холуянъ, мужчина, такой худой, черный, съ лицомъ выжженой глины, весь,

можно сказать, жилистый да-глиняный и говорить съ перс-душинкой, какъ будто больной.

— Вотъ, говоритъ,—господа, у меня вина такого-то года урожая хорошаго; не хотите ли попробовать?

— Очень рады.

Онъ сейчасъ же кричитъ слугѣ:

— Подай господину поручику такого-то вина.

Тотъ подастъ и непременно непочатую бутылку, а предъ послѣднимъ блюдомъ вдругъ является жупанъ съ пустыми блюдомъ и всѣхъ обходить.

— Это что, моль, такое?!

— Деньги за обѣдъ и за вино.

Мы переконфузились, — особенно ты, съ которыми и депегъ не случилось. Ты подъ столомъ другъ у друга потихоньку перехватывали.

Вотъ вѣдь какая черномазая рвань!

Но дѣлю, которымъ до злого горя насъ донялъ Холуянъ, разумеется, было не въ этомъ, а въ куконицѣ, изъ-за которой на тонцѣ, на древицѣ всѣ наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерялъ то, что мнѣ было всего дороже и милѣе,—можно сказать даже, священнѣе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Семья у нашихъ хозяевъ была такая: самъ банъ Холуянъ, котораго я ужъ вамъ слегка изобразилъ: худой, жилистый, а ножки глиняныя, еще не старыя, а все палочкой подтирается и ни на минуту ее изъ рукъ не выпускаетъ. Сидеть, а палочка у него въ колѣняхъ. Говорили, будто онъ когда-то былъ на дуэли раненъ, а я думаю, что гдѣ-нибудь почту хотѣлъ остановить, да почтальонъ его подстрѣлилъ. Послѣ это объяснилось еще совсѣмъ иначе, и понятно стало, да поздно. А по началу казалось, что онъ человекъ свѣтскій и образованный,—ногти длинные, бѣлые и всегда батистовый платокъ въ рукахъ. Для дамы, онъ, впрочемъ, кромѣ образованія, не могъ обѣщать ни малѣйшаго интереса, потому что видъ у него былъ ужасно холоднаго человека. А у него куконица просто какъ сказочная царица: было ей лѣтъ не болѣе, какъ двадцать два, двадцать три,—вся въ полномъ расцвѣтѣ, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечикахъ уже первый молодой жирокъ ямочками пушится и одѣта всегда чудо какъ

къ лицу, чаще въ палевомъ, или въ бѣломъ, съ расшивными узорами, и ножки въ цвѣтныхъ банникахъ съ золотомъ.

Разумѣется, началось смятеніе сердець. У насъ былъ офицеръ, котораго мы звали Фоблазь, потому что онъ удивительно какъ скоро умѣлъ обворожать женщины, — проидеть, бывало, мимо дома, гдѣ какая-нибудь мѣщаночка хорошенькая сидитъ, — скажетъ всего три слова: «милые глазки ангелочки», — смотришь, уже и знакомство завязывается. Я самъ былъ тоже преданъ красотѣ до сумасшествія. Къ концу обѣда я вижу — у него уже все рыльце огнищемъ, а глаза буравцомъ.

Я его даже остановилъ:

— Ты, говорю, — неприличенъ.

— Не могу, отвѣчаеъ, — и не мѣшай, я се раздѣваю въ моемъ воображеніи.

Послѣ обѣда Холузявъ предложилъ метнуть банкъ.

Я ему говорю. — какая глупость! А самъ вдругъ о томъ же замечать, и вдругъ замѣчаю, что и у другихъ у всѣхъ стало рыльце огнищемъ, а глаза буравцомъ.

Вотъ она, моль, съ какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка! Всѣ согласились, кромѣ одного Фоблаза. Онъ остался при куконѣ и до самаго вечера съ ней говорилъ.

Вечеромъ спрашиваемъ:

— Что она, какъ — занимательна?

• А онъ расхохотался.

— По-моему, отвѣчаеъ, — у нея, должно-быть, матушка или отецъ съ дуринкой были, а она по природѣ въ нихъ пошла. Рѣшимости мало: никуда отъ дома не отходить. Надо сообразить каковъ за нею здѣсь присмотръ и кого она боится? Женщины часто бываютъ нерѣшительны да ненаходчивы. Надо за нихъ думать.

А насчетъ досмотра въ насъ возбуждать подозрѣнія не столько самъ Холузявъ, какъ его братъ, который назывался Антоній.

Онъ совсѣмъ былъ непохожъ на брата: такой мужиковатый, полного сложенія, но на смѣшныхъ тонкихъ ножкахъ.

Мы его такъ и прозвали «Антошка на тонкой ножкѣ». — Лицо тоже было совершенно не такое, какъ у брата. Простой этакой, — ни скобленъ, ни тесагъ, а слѣпенъ да бро-

шентъ, по намъ сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, въ немъ клокъ сѣрой волчьей шерсти есть... Однако, вышло такое удивленіе, что всѣ наши подозрѣнія были напрасны: за куконою совсѣмъ никакого присмотра не оказалось.

Образъ жизни домашней у Холуяповъ былъ самый удивительный,—точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкаго Холуяна Леонарда до самаго обѣда ни за что и гдѣ нельзя было увидѣть. Чортъ его знаетъ, гдѣ онъ скрывался! Говорили, будто безвыходно сидѣлъ въ отдаленныхъ, внутреннихъ комнатахъ, и что-то тамъ дѣлалъ—литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонкихъ ножкахъ, какъ вставалъ, такъ уходилъ куда-то въ поле съ маленькою безчеревной собачкою, и его также цѣлый день не видно. Все по хозяйству ходить. Лучшихъ, то-есть, условій даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить къ себѣ кукону разговоромъ и другими приѣмами. Думалось, что это недолго и что Фоблазь это сдѣлаетъ, но неожиданно замѣчаемъ, что нашъ Фоблазь не въ авантажѣ обрѣтается. Все онъ имѣетъ видъ чловѣка, который держитъ волка за уши,—ни къ себѣ его ни оборотить, ни выпустить, а между тѣмъ уже видно, что руки набрякли и вотъ-вотъ сами отвалятся...

Видно, что малый ужасно сконфузень, потому что онъ къ неуспѣхамъ не привыкъ, и не только намъ, а самому себѣ этого объяснить не можетъ.

— Въ чемъ же дѣло?

— Пароль доверь, говорить,—ничего не понимаю, кромѣ того, что она очень странная.

— Ну, богатая женщина, избалованная, капризничаетъ,—весьма естественно.

Порядокъ жизни у нашей куконьки былъ такой, что она не могла не скучать. Съ утра до обѣда ее почти постоянно можно было видѣть, какъ она мотается, и всегда одна-одинешенька или возится съ самой глупѣйшей въ мірѣ птицей— съ курицей: странное занятіе для молодой, изищной, богатой дамы, но чтѣ сдѣлать, если такова фантазія? Дѣлать ей, видно, было совершенно нечего: выйдетъ она вся въ бѣломъ, или въ палевомъ negligѣ, сядетъ на бирокныхъ плитахъ у края веранды подъ зеленымъ хмелемъ,—въ черныхъ волосахъ тюльпанъ или махровый макъ, и гляди на нее хоть цѣлый

день. Все ея занятіе въ томъ состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку съ сережками у себя на колыбяхъ лущеной кукурузой кормить.—Ясное дѣло, что образованія должно быть немного, а досуга некуда дѣть. Если съ курицей возится, то, стало-быть, ей очень скучно, а гдѣ женщицѣ скучно, тамъ кавалерское дѣло даму развлекать. Но ничего не выходитъ,—даже и разговоръ съ нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованешти, кернешти» — десятого слова и того понять нельзя. А къ мимикѣ страстей она была ужасно непонятна. Фоблазь совѣтъ руки опустилъ, только конфузился, когда ему смѣялись, что онъ съ курицею не можетъ соперничать. Пошли мы увиваться вокругъ куконь всѣ — кому больше счастье послужить, но ни одному изъ насъ ничего не фортунило. Открываешься ей въ любви, а она глядитъ на тебя своими черными волооками, или заговорить въ родѣ: «шти, эшти, молдованешти», и ничего болѣе.

Омерзѣло всѣмъ себя видѣть въ такомъ глупомъ положеніи, и даже ссоры пошли, другъ къ другу зависть и ревность,—придираемся, колкости говоримъ... Словомъ, всѣ въ безпокойнѣйшемъ состояніи, то о ней мечтаемъ, то другъ за другомъ въ секретѣ смотримъ за нею. А она сидитъ себѣ съ этой курочкой и кочено. Такъ весь день глядимъ, всю ночь зѣваемъ, а время мчится и строитъ намъ еще другую бѣду. Я вамъ сказать, что съ перваго же дня, какъ обѣдъ кончился, Холуянъ предложилъ, что онъ намъ банкъ заложить. Съ тѣхъ поръ пошла ежедневно игра: съ обѣда рѣжемся до полночи, и отъ того ли, что всѣ мы стали разсѣянные, или карты невѣрныя, но многіе изъ насъ уже успѣли себя хорошо охолостить даже до послѣдней копейки. А Холуянъ чиститъ, да чиститъ насъ ежедневно, какъ барановъ стрижетъ.

Разорились, оскудѣли и умоюъ, и снокойствіемъ, и невѣдомо до чего бы мы дошли, если бы вдругъ не появилось среди насъ новое лицо, которое, можетъ-быть, еще худшія безпокойства надѣлало, но, однако, дало толчокъ къ развязкѣ.

Прѣхалъ къ намъ съ деньгами чиновникъ комиссаріатскій. Изъ поляковъ, и пожилой, но шельма ужасная: гдѣ влаетъ, гдѣ хвостомъ повилаетъ,—и ото всѣхъ все узнаетъ, какъ мы не живемъ, а зѣваемъ. Пошелъ онъ тоже съ нами

къ Холуяну обѣдать, а потомъ остался въ карты играть,— а на кукону, подлецъ, и не смотритъ. Но на другой день съ вдругъ говорить: «я заболѣлъ». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумалъ: не лѣкаря позвать, а пона,—молебень о здравіи отслужить. Пришелъ поигъ—настоящій тараканный лобъ: весь черный и заигъ ни на что похоже, — хуже армянскаго. У армяновъ хоть поймешь два слова: «Григоріосъ Арменіосъ», а у этого ничего не разобрать, что онъ допочеть.

Полякъ же, шельма, по-ихъему зналъ немножко и такую съ пономъ конституцію развелъ, что пріятелими сдѣлались и оба другъ другомъ довольны: поигъ радъ, что комиссіонеръ ему хорошо заплатилъ, а тотъ сразу же отъ его молебна выздоровѣлъ и такую штуку удрасть, что мы и рта разинули.

Вечеромъ, когда уже при свѣчахъ мы все въ залѣ банкъ метали, — входитъ нашъ комиссіонеръ и играть не сталъ, но говорить: «я боленъ еще», и прямо прошелъ на веранду, гдѣ въ сумракѣ небесъ, на плитахъ, сидѣла кукона—и вдругъ оба съ нею за густымъ хмелемъ скрылись и исчезли въ темной тѣни. Фоблазь не утерпѣлъ, выскочилъ, а они уже преавантажно вдвоемъ на плотикѣ черезъ заливчикъ плывутъ къ островку... На его же глазахъ переплыли и скрылись...

А Холуянъ хоть бы, подлецъ, глазомъ моргнулъ. Тасуетъ карты и занисн смотритъ на тѣхъ, которые уже въ долгъ промотались...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Но надо вамъ сказать, что это былъ за островокъ, куда они отплывали.

Когда я говорить про мызу, я забылъ вамъ сказать, что тамъ при усадьбѣ было самага лучшаго,—это вотъ и есть маленькій островокъ передъ верандой. Передъ верандой прямо былъ цвѣтникъ, а за цвѣтникомъ сейчасъ заливчикъ, а за нимъ островокъ, небольшой, такъ сказать, величины съ хорошій дворъ помѣщичьяго дома. Весь онъ заросъ густою жимолостью и разными цвѣтущими кустами, въ которыхъ было много соловьевъ. Соловей у нихъ хорошій,—не такой крѣпкій какъ курскій, но на манеръ бердичевскаго. Площадь острова была вся въ бугоркахъ или въ холмикахъ.

и на одномъ холмикѣ была устроена бесѣдочка, а подъ нею въ плитахъ гротъ, гдѣ было очень прохладно. Тутъ стоялъ старинный диванъ, на которомъ можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой кукона играла и пѣла. По острову были расчищены дорожки и въ одномъ мѣстѣ по другую сторону дерновая скамья, откуда была широкой видъ на луга. Сообщеніе черезъ проливчикъ къ островку было устроено посредствомъ маленькаго прекраснаго плотника. Перильца и все это на немъ раскрашено въ восточномъ вкусѣ, а по срединѣ золоченое кресло. Садитесь кукона на это кресло, беретъ нестрое весло съ двумя лопастями и переплываетъ. Другой человекъ могъ стоять только сзади за ея кресломъ.

Островъ этотъ и гротъ мы звали: «гротъ Калинесы», но сами тамъ не бывали, потому что плотикъ у куконы былъ на цѣпочкѣ занертъ. Комиссіонеръ нашелъ ключи къ этой цѣпи...

Мы, но правдѣ сказать, просто хотѣли его избить, но онъ смѣлъ быть, каналья, и всѣхъ успокоилъ.

— Господа! говоритъ: — изъ-за чего намъ ссориться. Я вамъ весь путь покажу. Это мнѣ поплъ сказала. Я его спросилъ: какаѣ кукона? А онъ говоритъ: «очень хорошая — о бѣдныхъ заботится». И взялъ пятьдесятъ червонцевъ и ей подалъ молча, для ея бѣдныхъ, а она, также молча, мнѣ руку подала и повезла съ собою на островъ. Головой вамъ отвѣчаю, — берите прямо въ руки сверточекъ червонцевъ и, ни слова не разговаривая, тѣмъ же счастьемъ можете пользоваться. Видъ луиный прекрасенъ, арфа сладкозвучна, но я ничѣмъ этимъ болѣе наслаждаться не могу, потому что долгъ службы моей меня призываетъ, и я завтра ъду отъ васъ, а вы остаетесь.

Вотъ такъ развязка!

Онъ уѣхалъ, а мы смотримъ другъ на друга: кто можетъ жертвовать въ пользу бѣдныхъ здѣшняго прихода по пятидесяти червонцевъ? Нѣкоторые храбрились, — «я вотъ-вотъ изъ дома жду», и другой тоже изъ дома ждетъ, а дома-то, вѣрно, и въ своихъ приходахъ случились бѣдные. Что-то никому не присылаютъ.

И вдругъ среди этого — неожиданнѣйшее приключеніе: Фоблазъ оторвалъ цѣпь, которою былъ прикованъ плотникъ, переплылъ туда одинъ и въ гротъ заступился.

Чортъ знаетъ, что за происшествіе! И товарища жаль, и глупо это какъ-то... совсѣмъ глупо, а однако, печальный фактъ совершился и одного изъ храбрыхъ не стало.

Застрѣлился Фоблазъ, конечно, отъ любви, а любовь разгорѣлась отъ раздраженія самолюбія, такъ какъ онъ у всѣхъ женщинъ на своей родинѣ былъ счастливъ. — Похоронили его честь честью,—съ музыкой, а за упокой его души всѣ, у одного собравшись, выжили и заговорили, что это такъ невозможно оставить,—что мы тутъ съ нашей всегдашней простотою совсѣмъ пропадемъ. А батальонный майоръ, который у насъ былъ женатый и человѣкъ обстоятельный, говорить:

— Да вы и не безпокойтесь, я уже допесъ по начальству, что не ручаюсь, будетъ ли въ чемъ васъ изъ этой мызы вывести, и жду завтра же новаго распоряженія. Пусть тутъ чортъ стоитъ у этого Холуяна! Проклятая мыза и проклятый хозяинъ!

И всѣ мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда, но всѣмъ господамъ офицерамъ досадно было уйти отсюда такъ,—не наказавши подлецовъ.

Придумывали разные штуки устроить надъ Холуянами; думали его высѣчь или какъ-нибудь смѣшно обрить, но майоръ сказалъ:

— Боже спаси, господа: прошу васъ, чтобы ничего похожаго на малѣйшее насиліе не было, и кто ему долженъ—извольте, гдѣ хотите занять денегъ и съ нимъ разсчитаться. А если что-нибудь невинное, для отыгранія своей чести придумаете,—это можете.

Лиха бѣда, отыгранія чести-то не было на что этого произвести.

Майоръ сказалъ, наконецъ, что онъ отъ насъ только скрываетъ, а что собственно у него уже есть въ карманѣ предписаніе выступить, и что завтра здѣсь послѣдній день нашей красоты, а послѣзавтра на зарѣ и выступимъ въ другія мѣста.

Тутъ мнѣ и взорыкнула на умъ какаа-то кобылка:

— Если, говорю,—мы послѣзавтра выходимъ, такъ что завтра здѣсь нашъ послѣдній вечеръ, то, сдѣлайте милость, Холуяинъ будетъ хорошо проученъ, и никому не похвалится, что ему довелось русскихъ офицеровъ надуть.

Нѣкоторые похвалили, говорили, — «молодецъ», а другіе не вѣрили и смѣялись: «ну, гдѣ тебѣ! лучше не трогай».

А я говорю:

— Это, господа, мое дѣло: я все беру за свой паи.

— Но что же такое ты сдѣлаешь?

— Это мой секретъ.

— Но Холуянъ будетъ наказанъ?

— Ужасно!

— И честь наша будетъ отомщена?

— Непремѣнно.

— Поклянись.

Я поклялся тѣмъ несчастнаго друга нашего Фоблаза, которая сама себя осудила одиноко блуждать въ этомъ проклятомъ мѣстѣ, и разбилъ свой стаканъ объ полъ.

Все товарищи меня подхватили, одобрили, расцѣловали и записали нашу клятву, но только маіоръ удержалъ, чтобы стакановъ не бить.

— Это, говорить,—одинъ театральннй фарсъ и больше ничего...

Разошлись прекрасно. Я былъ въ себѣ крѣпко увѣренъ, потому что планъ мой былъ очень хорошъ. Холуянъ въ своихъ продѣлкахъ долженъ быть совершенно одураченъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. •

Настало завтра и послѣдннй день нашей красы. Получили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько былъ долженъ Холуяну, и осталось у каждаго столько денегъ, что и кошель не надо. У меня было съ чѣмъ-нибудь сто рублей, то-есть на ихнѣ, по-тогдашнему, это составляло съ небольшимъ десять червонцевъ. А для меня, по плану загѣи моей, еще требовалось, по крайней мѣрѣ, сорокъ червонцевъ. Гдѣ же ихъ взять? У товарищей и не было, да я и не хотѣлъ, потому что у меня другой планъ имѣлся. Я его и привелъ въ исполненіе.

Приходимъ на послѣднюю вечерю къ Холуяну—онъ очень адушень и приглашаетъ меня играть.

Я говорю:

— Радъ бы играть, да игрушекъ нѣтъ.

Онъ проситъ не стѣсняться,—взять займы у него изъ банка.

— Хорошо, говорю, — позвольте мнѣ пятьдесятъ червонцевъ.

— Сдѣлайте милость, говорить,—и подвигаетъ кучку.

Я взял и опустил ихъ въ карманъ.

Вѣрилъ намъ, шельма, будто мы всё Шереметьевы.

Я говорю:

— Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухѣ,—и вышелъ на веранду.

За мною выбѣгаютъ два товарища и говорятъ:

— Что ты это дѣлаешь: чѣмъ отдать?

Я отвѣчаю:

— Не ваше дѣло,—не беспокойтесь.

— Вѣдь это нельзя, пристають,—мы завтра выходимъ,—непремѣнно надо отдать.

— И отдамъ.

— А если проиграешь?

— Во всякомъ случаѣ отдамъ.

И совралъ имъ, будто у меня есть на рукахъ казенныя.

Они отстали, а я прямо подстаю къ куконѣ, ногой шаркнулъ и подаю ей горсть червонцевъ.

— Прошу, говорю,—вась принять отъ меня для бѣдныхъ вашего прихода.

Не знаю, какъ она это поняла, но сейчасъ же встала, подала мнѣ свою ручку; мы обоняли кламбю, да на плотникѣ и поплыли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Объ игрѣ ея на арфѣ отмѣннаго сказать нечего: вошли въ гротъ: она сѣла и какой-то экосезъ заиграла. Тогда не было еще такихъ восназительныхъ романсовъ, какъ «мой тигренокъ», или «затигри меня до смерти»,—а экосезки-съ, все простыя экосезки, подъ которыя можно только одинъ на танцовать, а тогда, бывало, ни вѣсть что подъ это готовъ сдѣлать. Такъ и въ настоящій разъ,—сначала экосезъ, а потомъ «гули, да люди пошли ходули,—энти, да молдаванити»,—кокъ да и дѣло въ мѣнюкъ... И благополучнымъ образомъ назадъ оба переняли.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Откровенно признаться—я не утаю, что былъ въ очень мечтательномъ настроеніи, которое совсѣмъ не отвѣчало задуманному мною плану. Но знаете, къ тридцати годамъ уже подходило, а въ это время всегда начинаются первыя оглядки. Вспомнилось все—какъ это начиналась «жизнь

сердца»—всѣ эти скромные васильки во ржи на далекой родинѣ, потомъ эти хохлушечки и польки въ ихъ скромныхъ будничкахъ, и вдругъ — чортъ возьми, — гротъ Калишсы... и сама эта богиня... Какъ хотите, есть о чемъ привести воспоминанія... И вдругъ сдѣлалось мнѣ такъ грустно, что я оставилъ кукону въ уединеніи приковывать цѣпочкою ея плотикъ, а самъ единолично вхожу въ залу, которую оставилъ, какъ банкъ метали, а теперь вмѣсто того застаю ссору, да еще какую! Холуяиъ сидитъ, а наши офицеры все встали и нѣкоторые даже нарочно фуражки надѣли, и все шумятъ, спорятъ о справедливости его игры. Онъ ихъ опять всехъ обыгралъ.

Офицеры говорятъ:

— Мы вамъ заплатимъ, но, по справедливости говоря, мы вамъ ничего не должны.

Я какъ разъ на эти слова вхожу и говорю:

— И я тоже не долженъ—пятьдесятъ червонцевъ, которые я у васъ занялъ,—я вашей женѣ отдалъ.

Офицеры ужасно смутились, а онъ какъ полотно поблѣднѣлъ съ досады, что я его перехитрилъ. Схватилъ въ руку карты, затрясся и закричалъ:

— Вы врете! вы—плуты!

И прямо, подлець, бросилъ въ меня картами. Но я не потерялся и говорю:

— Ну, итъ, братъ,—я выше плута на два фута,—да баць ему пощечину... А онъ тряхнулъ свою палку, а изъ нея выскочила толдекая шпага, и онъ съ нею, каналья, на безоружнаго лѣзетъ!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другіе—меня. А онъ кричитъ:

— Вы подлець! никто изъ васъ никогда моей жены не видалъ!

— Ну, молъ, батюшка,—ужь это ты оставь намъ доказывать,—очень мы ее видали!

— Гдѣ? Какую?

Ему говорятъ:

— Оставьте, объ этомъ-то уже нечего спорить. Разумѣется, мы знаемъ вашу супругу.

А онъ, въ отвѣтъ на это, какъ чортъ расхохотался, плюнулъ и ушелъ за двери, и ключомъ заперся.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

И что же вы думаете?—вѣдь онъ былъ правъ!

Вы себѣ даже и вообразить не можете, что тутъ такое надъ нами было продѣлано. Какая хитрость надъ хитростью и подлость надъ подлостью! Представьте, оказалось, вѣдь, что мы его жены, дѣйствительно, никогда ни одного разу въ глаза не видали! Онъ насъ считалъ какъ бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомить насъ съ его настоящимъ семействомъ, и оно на все время нашей стоянки укрывалось въ тѣхъ дальнихъ комнатахъ, гдѣ мы не были. А эта кукоша, по которой мы всё съ ума сходили и за счастье считали ручки да ножки ея цѣловать, а одинъ даже умеръ за нее.—была чортъ знаетъ что такое... просто арфистка изъ кофейни, которую за одинъ червонецъ можно нанять танцовать въ костюмѣ Евы... Она была взята изъ профита къ нашему приходу изъ кофейни и онъ съ нея доходъ имѣлъ... И самъ этотъ Холуянъ-то, съ которымъ мы играли, совсѣмъ былъ не Холуянъ, а тоже наемный шуллеръ, а настоящій Холуянъ только и былъ Антошка на тонкихъ ножкахъ, который все съ безчервонной собакой на охоту ходилъ... Онъ и былъ всему этому дѣлу антрепренеръ! Вотъ это плуты, такъ ужъ плуты! теперь посудите же, каково было намъ, офицерамъ, чувствовать, въ какомъ мы были дурацкомъ положеніи, и по чьей милости? — По милости такой, можно сказать, наипрезрѣннѣйшей дрянни!

А узналъ объ этомъ прежде всѣхъ я, но только тоже ужъ слишкомъ поздно,—когда вся моя военная карьера черезъ эту гадость была испорчена, благодаря глупости моихъ товарищей. Господа же офицеры наши еще и обидѣлись моимъ поступкомъ, нашли, что я будто поступилъ нечестно, — выдать, извольте видѣть, тайну дамы ей мужу... Вотъ вѣдь какая глупость! Однако, потребовали, чтобы я изъ полка вышелъ. Печего было дѣлать — я вышелъ. Но при проѣздѣ черезъ городъ жидъ мнѣ все и открылъ.

Я говорю:

— Да какъ же, ихъ погъ-то зачѣмъ же онъ про свою кукону говорилъ, что ей будто можно подъ предлогомъ на бѣдныхъ давать?

— А это, говоритъ, — справедливо, только погъ это про

настоящую куколу говорить, которая въ комнатахъ сидѣла, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли.

Словомъ сказать—кругомъ одурачены. Я человекъ очень сильной комплекціи, но былъ этимъ такъ потрясенъ, что у меня даже молдавская лихорадка сдѣлалась. Насилу на родину дотанчился къ своимъ простымъ сердцамъ, и радъ былъ, что городническое мѣстинко себѣ въ жидовскомъ городкѣ досталъ... Не хочу отрицать, — ссорился съ ними не мало, и, признаться сказать, изъ своихъ рукъ училъ, но... слава Богу—жизнь прожита и кусокъ хлѣба даже съ масломъ есть, а вотъ, когда вспомнишь про эту молдавскую лихорадку, такъ опять въ ознобъ бросить.

И отъ такого неприятнаго ощущенія рассказчикъ опять распаковалъ свою вмѣстительную подушку, налилъ стаканъ аметистовой влаги съ надписью «ся же и монаси пріемлять», и молвилъ:

— Вышьемте, господа, за жидовъ и на погнѣбель злымъ плутамъ—румынамъ.

— Что же, это будетъ преоригинально.

— Да, —отозвался другой собесѣдникъ:—но не будетъ ли еще лучше, если мы въ эту ночь, когда родился «Другъ грѣшниковъ», пожелаемъ «всѣмъ добра и никому зла».

— Прекрасно, прекрасно!

И воинъ согласился, сказалъ: «абгемахтъ», и выпилъ чарку.

ШТОПАЛЬЩИКЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Преглуное это пожеланіе сулить каждому въ новомъ году повое счастье, а вѣдь иногда что-то подобное приходитъ. Позвольте мнѣ рассказать вамъ на эту тему небольшое событіе, имѣющее совсѣмъ святочный характеръ.

Въ одну изъ очень давнихъ моихъ нобывокъ въ Москвѣ я задержался тамъ долѣе, чѣмъ думалъ, и мнѣ надоѣло жить въ гостиницѣ. Псаломщикъ одной изъ придворныхъ церквей услышалъ, какъ я жаловался на претергиваемыя неудобства приятелю моему, той церкви священнику, и говорить:

— Вотъ бы имъ, батюшка, къ куму моему, — у него пынче комната свободная на улицу.

— Къ какому куму? — спрашиваетъ священникъ.

— Къ Василью Конячу.

— Ахъ, это «метръ тальеръ Ленутанъ!»

— Такъ точно-съ.

— Что же—это, дѣйствительно, очень хорошо.

И священникъ мнѣ пояснилъ, что онъ и людей этихъ знаетъ, и комната отличная, а псаломщикъ добавитъ еще про одну выгоду:

— Если, говорить, — что прорвется или пизки въ брюкахъ обобьются — все опять у васъ будетъ исправно, такъ что глазомъ не замѣтить.

И всякія дальнѣйшія освѣдомленія почелъ излишними и даже комнаты не пошелъ смотрѣть, а далъ псаломщику ключъ отъ моего номера съ довѣрительною надписью на

карточкѣ и поручилъ ему разсчитаться въ гостинницѣ, взять оттуда мои вещи и перевезти все къ его куму. Потомъ я просилъ его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Псаломщикъ очень скоро обдѣлалъ мое порученіе и съ небольшимъ черезъ часъ зашелъ за мною къ священнику.

— Пойдемте, говоритъ, — все уже ваше тамъ разложили и разставили, и окошечки вамъ открыли, и дверку въ садъ на балкончикъ отворили, и даже сами съ кумомъ тамъ же, на балкончикѣ, чайку выпили. Хорошо тамъ, рассказы-ваютъ, — цвѣтки вокругъ, въ крыжовникѣ птички гнѣздятся и въ клѣткѣ подъ окномъ соловей свищетъ. Лучше какъ на дачѣ, потому — зелено, а межъ тѣмъ все домашнее въ порядкѣ, и если какая пуговица ослабѣла или низки обилась — сейчасъ исправятъ.

Псаломщикъ былъ парень аккуратный и большой франтъ, а потому онъ очень напиралъ на эту сторону выгоды своей новой квартиры.

Да, и священникъ его поддерживалъ.

— Да, говоритъ, — *tailleur Lepoutant* такой артистъ по этой части, что другого ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ не найдете.

— Специалистъ, — серьезно подсказалъ, подавая мнѣ галто, псаломщикъ.

Кто это *Lepoutant* — я не разобралъ, да притомъ это до меня и не касалось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы пошли цѣшкомъ.

Псаломщикъ увѣрялъ, что извозника брать не стоить, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самомъ дѣлѣ это, однако, оказалось около получаса ходьбы, но псаломщику хотѣлось сдѣлать «проминажу», можетъ-быть, не безъ умысла, чтобы показать бывшую у него въ рукахъ тросточку съ лиловой шелковой кистью.

Мѣстность, гдѣ находится домъ Лепутана, была за Москвой-рѣкою къ Яузѣ, гдѣ-то на берегу. Теперь я уже не припомню, въ какомъ это приходѣ и какъ переулокъ называется. Впрочемъ, это собственно не былъ и переулокъ, а

скорѣе какой-то непроѣзжей закоулочекъ, въ родѣ стариннаго погоста. Стояла церковка, а вокругъ нея угольничкомъ объѣздъ, и вотъ въ этомъ-то объѣздѣ шесть или семь домиковъ, все очень небольшіе, сѣренкіе, деревянные, одинъ на каменномъ полуэтажѣ. Этотъ былъ всѣхъ показнѣе и всѣхъ больше, и на немъ во весь фронтонъ была прибита большая желѣзная вывѣска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено: «Maitr tailleur Lepoutant».

Очевидно, здѣсь и было мое жилье, но мнѣ странно показалось: зачѣмъ же мой хозяинъ, по имени Василій Копычъ, называется «Maitr tailleur Lepoutant»? Когда его называлъ такимъ образомъ священникъ, я думалъ, что это не болѣе, какъ шутка, и не придавалъ этому никакого значенія, но теперь, видя вывѣску, я долженъ былъ перемѣнить свое заключеніе. Очевидно, что дѣло шло въ-серьезъ, и потому я спросилъ моего провожатаго:

— Василій Копычъ—русскій или французъ?

Псаломщикъ даже удивился и какъ будто не сразу понималъ вопросъ, а потомъ отвѣчалъ:

— Что вы это? какъ можно французъ,—чистый русскій! Онъ и платье дѣлаетъ на рынокъ только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше онъ по всей Москвѣ знаменитъ починкою: страсть сколько стараго платья черезъ его руки на рынокъ за новое идетъ.

— Но все-таки, любопытствую я, — онъ, вѣрно, отъ французовъ происходитъ?

Псаломщикъ опять удивился.

— Нѣтъ, говорить, — зачѣмъ же отъ французовъ? Онъ самой правильной дѣлшей природы, русской, и дѣтей у меня воспринимаетъ, а вѣдь мы, духовнаго званія, всѣ числимся православные. Да и почему вы такъ воображаете, что онъ приближенъ къ французской націи?

— У него на вывѣскѣ написана французская фамилія.

— Ахъ, это, говорить, — совершенные пустяки — одна лаферма. Да и то на главной вывѣскѣ по-французски, а вотъ у самыхъ воротъ, видите, есть другая, русская вывѣска, эта вѣрнѣе.

Смотрю, и точно у воротъ есть другая вывѣска, на которой нарисованы армякъ и поддевка и два черные жилета

съ серебряными пуговицами, сіяющими какъ звѣзды по мраку, а внизу подпись:

«Дѣлаютъ кустумы русскаго и духовнаго платья, со спеціальностью ворса, выверта и починки».

Подъ этою второю вывѣскою фамилія производителя «кустумовъ, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два инициала «В. Л.».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Помѣщеніе и хозяинъ оказались въ дѣйствительности выше всѣхъ сдѣланныхъ имъ похвалъ и описаній, такъ что я сразу же почувствовалъ себя здѣсь какъ дома, и скоро полюбилъ моего добраго хозяина, Василія Конныча. Скоро мы съ нимъ стали сходиться пить чай, начали благобесѣдовать о разнообразныхъ предметахъ. Такимъ образомъ, разъ сидя за чаемъ на балкончикѣ, мы завели рѣчи на царственныя темы Когелета о суетѣ всего, что есть подъ солнцемъ, и о нашей неустанной склонности работать всякой суетѣ. Тутъ и договорились до Лепутана.

Не помню, какъ именно это случилось, но только дошло до того, что Василій Коннычъ пожелалъ рассказать мнѣ странную исторію: какъ и по какой причинѣ онъ явился «подъ французскимъ заглавіемъ».

Это имѣетъ маленькое отношеніе къ общественнымъ правамъ и къ литературѣ, хотя писано на вывѣскѣ.

Коннычъ началъ просто, но очень интересно.

— Моя фамилія, сударь,—сказалъ онъ:—вовсе не Лепутанъ, а иначе,—а подъ французское заглавіе мѣся помѣстила сама *судьба*.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

— Я природный, коренной москвичъ, изъ бѣднѣйшаго званія. Дѣдушка нашъ у Рогожской заставы стелечки для дрекостепенныхъ старовѣровъ продавалъ. Отличный былъ старичокъ, какъ святой, — весь сѣденькій, будто подлинный зайчикъ, а все до самой смерти своими трудами питался: кунить, бывало, войлочекъ, нарѣжетъ его на кусочки по подошвѣ, смечетъ нарочками на нитку и ходитъ «по христіанамъ», а самъ поетъ ласково: «стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Такъ, бывало, по всей Москвѣ ходитъ и на одинъ грошъ у него всего товару, а кормится.

Отецъ мой былъ портной по древнему фасону. Для самыхъ законныхъ старовѣровъ рабскіе кафтанки шилъ съ тремя сборочками, и меня къ своему мастерству выучилъ. Но у меня съ дѣтства особенное дарованіе было — штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Такъ я къ этому приспособился, что, бывало, гдѣ угодно на самомъ видномъ мѣстѣ подштопаю и очень трудно замѣтить.

Старикъ отцу говорилъ

— Это мальцу отъ Бога таланъ данъ, а гдѣ таланъ, тамъ и счастье будетъ.

Такъ и вышло, но до всякаго счастья надо, знаете, покорное терпѣніе, и мнѣ тоже даны были два немалыя испытанія: во-первыхъ, родители мои померли, оставивъ меня въ очень молодыхъ годахъ, а во-вторыхъ, квартирка, гдѣ я жилъ, сгорѣла ночью на самое Рождество, когда я былъ въ Божьемъ храмѣ у заутрени, — и тамъ погорѣло все мое заведеніе: и утюгъ, и колодка, и чужія вещи, которыя были взяты для штопки. Очугился я тогда въ больномъ злостраданіи, но отсюда же и начался первый шагъ къ моему счастью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Одинъ давалецъ, у котораго при моемъ разореніи сгорѣла у меня крытая шуба, пришелъ и говорить:

— Потеря моя большая и къ самому празднику неприятно остаться безъ шубы, но я вижу, что взять съ тебя нечего, а надо еще тебѣ помочь. Если ты путный парень, такъ я тебя на хорошій путь выведу, съ тѣмъ, однако, что ты мнѣ современемъ долгъ отдашь.

Я отвѣчаю:

— Если бы только Богъ позволялъ, то съ больнымъ моимъ удовольствіемъ: отдать долгъ почитаю за первую обязанность.

Онъ велѣлъ мнѣ одѣться и привелъ въ гостиницу напротивъ главнокомандующаго дома къ подбуфетчику и говоритъ ему при мнѣ:

— Вотъ, говоритъ, — тотъ самый подмастерье, который, я вамъ говорилъ, что для вашей коммерціи можетъ быть очень способный.

Коммерція ихъ была такая, чтобы разутюживать прѣз-

жающимъ всякое платье, которое прѣдѣть, чтобы замѣтить замѣтившись, и всякую починку дѣлать, и дѣлается.

Подбуфетчикъ далъ мнѣ на пробу одну штуку сдѣлать, увидалъ, что исполняю хорошо, и приказалъ оставаться.

— Теперь, говоритъ, — Христовъ праздникъ и господь много наѣхало, и всѣ пьютъ-гуляютъ, а впереди еще Новый годъ и Крещенье — безобразія будутъ еще больше, — оставайся.

Я отвѣчаю:

— Согласенъ.

А тотъ, что меня привелъ, говоритъ:

— Ну, смотри, дѣйствуй, — здѣсь нажать можно. А только его (т. е. подбуфетчика) слушай какъ пастыря. Богъ пристанетъ и пастыря приставитъ.

Отвели мнѣ въ заднемъ коридорѣ маленькій уголочекъ, при окошечкѣ, и пошелъ я дѣйствовать. Очень много, пожалуй и не счесть, сколько я господь перечинилъ, и грѣхъ жаловаться, самъ хорошо починился, потому что работы было ужасно какъ много и плату давали хорошую. Люди простой масти тамъ не останавливались, а прѣзжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять съ главнокомандующимъ на одномъ мѣстоположеніи изъ оконъ въ окна.

Особенно хорошо платили за штукочки да за штюпку при тѣхъ случаяхъ, если поврежденіе вдругъ неожиданно окажется въ такомъ платьѣ, которое сейчасъ надѣть надо. Ипой разъ, бывало, даже совѣстно, — дырка вся въ гривенникъ, а зачинить ее незамѣтно — даютъ золотой.

Меньше червонца дырочку подитонать никогда не плачивали. Но, разумѣется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, какъ воды канля съ другою слита и нельзя ихъ различить, такъ чтобы и штука была вштукована.

Изъ денегъ мнѣ, изъ каждой платы, давали третью часть, а первую бралъ подбуфетчикъ, другую — услужающіе, которые въ номерахъ господамъ чемоданы съ прѣзда разбираютъ и платье чистить. Въ нихъ все главное дѣло, потому они вещи и помнутъ, и потрутъ, и дырочку клюнутъ, и потому имъ двѣ доли, а остальное мнѣ. Но только и этого было на мою долю такъ достаточно, что я изъ коридорнаго угла ушелъ, и себѣ на томъ же дворѣ поспокойнѣе комнатку занялъ, а черезъ годъ подбуфетчикова

...и прѣехала, я на ней и женился. Тене-
дуруга, какъ ее видите,—она и есть, дожидла
до старости съ почтеніемъ, и, можетъ-быть, на ся долю
все Богъ и далъ. А женился просто такимъ способомъ,
что подбуфегчикъ сказалъ: «она сирота и ты долженъ ее
осчастливить, а потомъ черезъ нее тебѣ большое счастье
будетъ». И она тоже говорила: «я, говоритъ, счастлива,—
тебѣ за меня Богъ дастъ», и вдругъ, словно черезъ это,
въ самомъ дѣлѣ случилась удивительная неожиданность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Пришло опять Рождество, и опять канунъ на Новый
годъ. Сижу я вечеромъ у себя — что-то штопаю, и уже
думаю работу кончить да спать ложиться, какъ прибѣгаетъ
лакей изъ номеровъ и говоритъ:

— Бѣги скорѣй, въ первомъ номерѣ страшный Козырь
остановившись, — почитай, всѣхъ перебилъ, и кого уда-
рить — червонцемъ дарить, — сейчасъ онъ тебя къ себѣ
требуетъ.

— Что ему отъ меня нужно?—спрашиваю.

— На балъ, говоритъ,—онъ сталъ одѣваться, и въ самую
последнюю минуту во фракѣ на видномъ мѣстѣ прожженую
дырку осмотрѣлъ; человека, который чистилъ, избилъ и три
червонца далъ. Бѣги, какъ можно скорѣе, такой сердитый,
что на всѣхъ звѣрей сразу похожъ.

Я только головой покачалъ, потому что зналъ, какъ они
проѣзжающихъ вещи нарочно портятъ, чтобы профитъ съ
работы имѣть, но, однако, одѣлся и пошелъ смотрѣть Ко-
зыря, который одинъ сразу на всѣхъ звѣрей похожъ.

Плата непремѣнно предвидѣлась большая, потому что
первый номеръ во всякой гостиницѣ считается «козырной»
и не роскошный человекъ тамъ не останавливается; а въ
нашей гостиницѣ цѣна за первый номеръ полагалась въ
сутки, по-нынешнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему
счету на ассигнаціи — пятьдесятъ два съ полтиною, и кто
тутъ стоялъ, звали его Козыремъ.

Этотъ, къ которому меня теперь привели, на видъ былъ
ужасно какой страшный,—ростомъ огромнѣйшій и съ лица
смугль и дикъ, и дѣйствительно на всѣхъ звѣрей похожъ.

— Ты, — спрашиваетъ онъ меня злобымъ голосомъ:—

можешь такъ хорошо дырку заштопать, чтобы замѣтить пельзы?

Отвѣчаю:

— Зависитъ отъ того, въ какой вещи. Если вещь ворсистая, такъ можно очень хорошо сдѣлать, а если блестящій атласъ или шелковая мове—матеріал, съ тѣмъ не берусь.

— Самъ, говорить, — ты мове, а мнѣ какой-то подлець вчера, вѣроятно, сзади меня сидѣвши, цыгаркою фракъ прожегъ. Вотъ осмотри его и скажи.

Я осмотрѣлъ и говорю:

— Это хорошо можно сдѣлать.

— А въ сколько времени?

— Да черезъ часъ, отвѣчаю,—будетъ готово.

— Дѣлай, говорить,—и если хорошо сдѣлаешь, получишь денегъ полушку, а если нехорошо, то головой объ кадушку. Поди разспроси, какъ я здѣшнихъ молодцовъ избилъ, и знай, что тебя я въ сто разъ больше изобью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пошелъ я чинить, а самъ не очень и радъ, потому что не всегда можно быть увѣреннымъ, какъ сдѣлаешь: попрохотѣ сукнецо лучше слипнетъ, а которое жестче, — трудно его подворсить такъ, чтобы не было замѣтно.

Сдѣлалъ я, однако, хорошо, но самъ не понесъ, потому что обращеніе его мнѣ очень не нравилось. Работа этакая капризная, что какъ хорошо ни сдѣлай, а все кто охочь придратъся—легко можно неприятность получить.

Послалъ я фракъ съ женою къ ея брату и наказалъ, чтобы отдала, а сама скорѣе домой ворочалась, и какъ она прибѣжала назадъ, такъ поскорѣе заперлись изнутри на крюкъ и легли спать.

Утромъ я всталъ и повелъ день своимъ порядкомъ: сижу за работою и жду, какое мнѣ отъ козырнаго барина придутъ сказывать жалованіе — денегъ полушку или головой объ кадушку?

И вдругъ, такъ часу во второмъ, является лакей и говорить:

— Баринъ изъ перваго номера тебя къ себѣ требуетъ.

Я говорю:

— Ни за что не пойду.

— Черезъ что такое?

— А такъ — не пойду да и только; пусть лучше работа моя даромъ пропадаетъ, но я видѣть его не желаю.

А лакей сталъ говорить:

— Напрасно ты только страшишься: онъ тобою очень доволенъ остался и въ твоёмъ фракѣ на балѣ Новый годъ встрѣчалъ и никто на немъ дырки не замѣтилъ. А теперь у него собрались къ завтраку гости его съ Новымъ годомъ поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работѣ разговаривать, объ закладъ пошли: кто дырку найдетъ, да никто не найдетъ. Теперь они на радости, къ этому случаю присынавшись, за твое русское искусство пьютъ и самого тебя видѣть желаютъ. Иди скорѣй — черезъ это тебя въ Новый годъ новое счастье ждетъ.

И жена тоже на томъ настаиваетъ:

— Иди, да иди, — мое сердце, говорить, — чувствуетъ, что съ этого наше новое счастье начинается.

И ихъ послушался и пошелъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Господь въ первомъ номерѣ я встрѣтилъ человекъ десять и всё много выпивши, и какъ я пришелъ, то и мнѣ сейчасъ подають бокаль съ виномъ и говорятъ:

— Пей съ нами вмѣстѣ за твое русское искусство, въ которомъ ты нашу націю прославить можешь.

И разное такое подъ виномъ говорятъ, чего дѣло совѣтъ и не стоить.

И, разумѣется, благодарю и кланяюсь, и два бокала выпилъ за Россію и за ихъ здоровье, а болѣе, — говорю, — не могу сладкаго вина пить черезъ то, что я къ нему не привыченъ, да и такой компаніи не заслуживаю.

А страшный баринъ изъ перваго номера отвѣчаетъ:

— Ты, братецъ, оселъ и дуракъ, и скотина, — ты самъ себя цѣны не знаешь, сколько ты по своимъ дарованіямъ заслуживаешь. Ты мнѣ иомогъ подъ Новый годъ весь предлогъ жизни исправить, черезъ то, что я вчера на балу любимой невѣстѣ важнаго рода въ любви открылся и согласіе получилъ, въ этотъ мясоѣдъ и свадьба моя будетъ.

— Желаю, говорю, — вамъ и будущей супругѣ вашей принять законъ въ полномъ счастьи.

— А ты за это вышей.

И не могъ отказаться и вышилъ, но дальше прощу отпустить.

— Хорошо, говорить, — только скажи мнѣ, гдѣ ты живешь и какъ тебя звать по имени, отчеству и прозванію: я хочу твоимъ благодѣтелемъ быть.

И отвѣчаю:

— Звать меня Василій, по отцу Кононовъ сынъ, а прозваніе Лапутинъ, и мастерство мое тутъ же рядомъ, тутъ и маленькая вывѣска есть, обозначено: «Лапутинъ».

Разсказываю это и не замѣчаю, что всѣ гости при моихъ словахъ чего-то порскнули и со смѣху покатались, а баринъ, которому я фракъ чинилъ, ни съ того, ни съ сего, хлясь меня въ ухо, а потомъ хлясь въ другое, такъ что я на ногахъ не устоялъ. А онъ подтолкнулъ меня выступкомъ къ двери, да за порогъ и выбросилъ.

Ничего я понять не могъ, и дай Богъ скорѣе ноги.

Прихожу, а жена спрашиваетъ:

— Говори скорѣе, Васенька, какъ мое счастье тебѣ послужило?

И говорю:

— Ты меня, Машенька, во всѣхъ частяхъ подробно не разспрашивай, но только если по этому началу въ такомъ же родѣ дальше пойдетъ, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избилъ меня, ангель мой, этотъ баринъ.

Жена встревожилась, — что, какъ и за какую провинность; а я, разумѣется, и сказать не могу, потому что самъ ничего не знаю.

Но пока мы этотъ разговоръ ведемъ, вдругъ у насъ въ сѣнечкахъ что-то застучало, занумѣло, загремѣло, и входитъ мой изъ перваго номера благодѣтель.

Мы оба встали съ мѣсть и на него смотримъ, а онъ, раскраснѣвшись отъ внутреннихъ чувствъ, или еще вина подбавивши, и держать въ одной рукѣ дворницкій топоръ на долгомъ топорницѣ, а въ другой поколотую въ щены дощечку, на которой была моя плохая вывѣсочка съ обозначеніемъ моего бѣднаго ремесла и фамиліи: «старъо чинить и выворачиваетъ Лапутинъ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Вошелъ баринъ съ этими поколотыми досточками и прямо кинулъ ихъ въ печку, а мнѣ говоритъ: «одѣвайся, сейчасъ

вмѣстѣ со мною въ коляскѣ поѣдемъ, — я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у васъ есть, какъ эти доски поколю».

Я думаю:—чѣмъ съ такимъ дебоширомъ спорить, лучше его скорѣе изъ дома увести, чтобы женѣ какой обиды не сдѣлалъ.

Торопливо одѣлся,—говорю женѣ:

— Перекрести меня, Машенька!—и поѣхали. Прикатили въ Бронную, гдѣ жилъ извѣстный покушной сводчикъ Прохоръ Ивановичъ, и баринъ сейчасъ спросилъ у него:

— Какіе есть въ продажу дома и въ какой мѣстности, на цѣну отъ двадцати пяти до тридцати тысячъ, или немножко болѣе. Разумѣется, по-тогдашнему, на ассигнаціи.

— Только мнѣ такой домъ требуется, объясняетъ,— чтобы его сію минуту взять и перейти туда можно.

Сводчикъ вынулъ изъ комода тетрадь, вдѣлъ очки, посмотрѣлъ въ одинъ листъ, въ другой, и говоритъ:

— Есть домъ на всѣ виды вамъ подходящій, но только прибавить немножко придется.

— Могу прибавить.

— Такъ надо дать до тридцати пяти тысячъ.

— Я согласенъ.

— Тогда, говоритъ,— все дѣло въ часть кончимъ и завтра въѣхать въ него можно, потому что въ этомъ домѣ дьяконъ на крестинахъ куриной костью подавился и номеръ, и черезъ то тамъ теперь никто не живетъ.

Вотъ это и есть тотъ самый домикъ, гдѣ мы съ вами теперь сидимъ. Говорили, будто здѣсь покойный дьяконъ почамы ходитъ и давится, но только все это совершенные пустяки и никто его тутъ при насъ ни разу не видывалъ. Мы съ женою на другой же день сюда переѣхали, потому что баринъ намъ этотъ домъ по дарственной перевелъ; а на третій день онъ приходитъ съ рабочими, которыхъ больше какъ шесть или семь человекъ, и съ ними лѣстница и вотъ эта самая вывѣска, что я будто французскій портной.

Пришли и приколотили, и назадъ ушли, а баринъ мнѣ наказалъ:

— Одно, говоритъ,— тебѣ мое приказаніе: вывѣску эту никогда не смѣй перемѣнять и на это названіе отзываться. И вдругъ вскрикнулъ:

— Лепутанъ!

Я откликаюсь:

— Чего изволите?

— Молодецъ, говорить. — Вотъ тебѣ еще тысячу рублей на ложки и ложки, но смотри, Лепутанъ, — заповѣди мои соблюди и тогда самъ соблюденъ будешь, а ежели что... да, спаси тебя Госиоди, станешь въ своемъ прежнемъ имени утверждаться и я узнаю... то во первое предисловіе я всего тебя изобью, а во-вторыхъ, по закону, «даръ дарителю возвращается». А если въ моемъ желаніи пребудешь, то объясни, что тебѣ еще надо, и все отъ меня получишь.

Я его благодарю и говорю, что никакихъ желаніевъ не имѣю и не придумаю, окромя одного, — если его милость будетъ, сказать мнѣ: что все это значить и за что я домъ получилъ?

Но этого онъ не сказалъ.

— Это, говоритъ, — тебѣ совсѣмъ не надо, но только помни, что съ этихъ поръ ты называешься — «Лепутанъ» и такъ въ моей дарственной именованъ. Храни это имя: тебѣ это будетъ выгодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Остались мы въ своемъ домѣ хозяйствовать и пошло у насъ все очень благополучно, и считали мы такъ, что все это женинымъ счастьемъ, потому что настоящаго объясненія долгое время ни отъ кого получить не могли, но одинъ разъ пробѣжали тутъ мимо насъ два господина и вдругъ остановились и входятъ.

Жена спрашиваетъ:

— Что прикажете?

Они отвѣчаютъ:

— Намъ нужно самого мусье Лепутана.

Я выхожу, а они переглянулись, оба вразъ засмѣялись и заговорили со мной по-французски.

Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.

— А давно ли, спрашиваютъ, — вы стали подъ этой вывѣской?

Я имъ сказать сколько лѣтъ.

— Ну, такъ и есть. Мы васъ, говорятъ, — помнимъ и видѣли: вы одному господину подъ Новый годъ удивительно

фрактъ къ балу заштопали и потомъ отъ него при насъ неприятность въ гостиницѣ перенесли.

— Совершенно вѣрно, говорю,—былъ такой случай, но голько я этому господину благодаренъ и черезъ него жить пошелъ, но не знаю ни его имени, ни прозванія, потому все это отъ меня скрыто.

Они мнѣ сказали его имя, а фамилія его, прибавили,—Лапутинъ.

— Какъ, Лапутинъ?

— Да, разумѣется, говорятъ,—Лапутинъ. А вы развѣ не знали, черезъ что онъ вамъ все это благодѣтельство оказалъ. Черезъ то, чтобы его фамиліи на вывѣскѣ не было.

— Представьте, говорю,—а мы ъ-сю пору ничего этого понять не могли, благодѣніемъ пользовались, а словно какъ въ потемкахъ.

— Но, однако,—продолжаютъ мои гости:—ему отъ этого ничего не помоглось, —вчера съ нимъ новая исторія вышла.

И рассказали мнѣ такую новость, что стало мнѣ моего прежняго однофамильца очень жалко.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Жена Лапутина, которой они сдѣлали предложеніе въ заштопанномъ фракѣ, была еще щеголиствѣ мужа и обожала важность. Сами они оба были не Богъ вѣсть какой породы, а только отцы ихъ по откунамъ разбогатѣли, но искали знакомства съ одними знатными. А въ ту пору у насъ въ Москвѣ былъ главнокомандующимъ графъ Закревскій, который самъ тоже, говорятъ, былъ изъ поляцкихъ шляхтоцевъ, и его настояще господи, какъ князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ, не высоко числили; но прочіе обольщались быть въ его домѣ приняты. Моего прежняго однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, Богъ ихъ знаетъ почему, имъ это долго не выходило, но, наконецъ, нашелъ господинъ Лапутинъ сдѣлать графу какую-то пріятность, и тотъ ему сказалъ:

— Заѣзжай, братецъ, ко мнѣ, я велю тебя принять, скажи мнѣ, чтобы я не забылъ: какъ твоя фамилія?

Тотъ отвѣчалъ, что его фамилія Лапутинъ.

— Лапутинъ?—заговорилъ графъ:—Лапутинъ... Постой,

постояй, сдѣлай милость, Ланутинь... Я что-то помню, Ланутинь... Это чья-то фамилія.

— Точно такъ, говорить, — ваше сіятельство, это моя фамилія.

— Да, да, братецъ, дѣйствительно это твоя фамилія, только я что-то помню... какъ будто былъ еще кто-то Ланутинь. Можетъ-быть, это твой отецъ былъ Ланутинь?

Баринъ отвѣчаетъ, что его отецъ былъ Ланутинъ.

— То-то я помню, помню... Ланутинъ. Очень можетъ быть, что это твой отецъ. У меня очень хорошая память; прѣзжай, Ланутинъ, завтра же прѣзжай; я тебя велю принять, Ланутинъ.

Тотъ отъ радости себя не помнитъ и на другой день ѣдетъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Но графъ Закревскій память свою хотя и хвалилъ, однако, на этотъ разъ оплошалъ и ничего не сказалъ, чтобы принять господина Ланутина.

Тотъ разлетѣлся.

— Такой-то, говорить, — и желаю видѣть графа.

А швейцаръ его не пускаетъ.

— Никого, говорить, — не велѣно принимать.

Баринъ такъ-сякъ его убѣждать, — что «я, — говорить, — не самъ, а по графскому зову прѣзхалъ», — швейцаръ ко всему пребываетъ нечувствителенъ.

— Миѣ, говорить, — никого не велѣно принимать, а если вы по дѣлу, то идите въ канцелярію.

— Не по дѣлу я, — обижается баринъ, а по личному знакомству; графъ навѣрно тебѣ сказалъ мою фамилію — Ланутинъ, а ты, вѣрно, напуталъ.

— Никакой фамиліи миѣ вчера графъ не говорилъ.

— Этого не можетъ быть; ты просто позабылъ фамилію — Ланутинъ.

— Никогда я ничего не позабываю, а этой фамиліи я даже и не могу позабыть, потому что я самъ Ланутинъ.

Баринъ такъ и вскипѣлъ.

— Какъ, говорить, — ты самъ Ланутинъ! Кто тебя научилъ такъ назваться?

А швейцаръ ему отвѣчаетъ:

— Никто меня не научалъ, а наша природа, и вѣ

Москвѣ Лапутиныхъ обширное множество, но только остальные незначительны, а въ настоящіе люди одинъ и вышелъ.

А въ это время, пока они спорили, графъ съ лѣстницы сходить и говорить:

— Дѣйствительно, это я его и помню, онъ и есть Лапутинъ, и онъ у меня тоже мерзавецъ. А ты въ другой разъ приди, мнѣ теперь некогда. До свиданія.

Ну, разумѣется, послѣ этого уже какое свиданіе!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Разказалъ мнѣ это *maitre tailleur Lepoutant* съ сожалительною скромностію и прибавилъ въ видѣ финала, что на другой же день ему довелось, идучи съ работою по бульвару, встрѣтить самого анекдотическаго Лапутина, котораго Василій Конычъ имѣлъ основаніе считать своимъ благодѣтелемъ.

— Сидитъ, говоритъ,—на лавочкѣ очень грустный. Я хотѣлъ проюркнуть мимо, но онъ лишь замѣтилъ и говорить:

— Здравствуй, *monsieur Lepoutant*! Какъ живешь-можешь?

— По Божьей и по вашей милости—очень хорошо. Вы какъ, батюшка, изволите себя чувствовать?

— Какъ нельзя хуже; со мною прескверная исторія случилась.

— Слышалъ, говорю,—сударь, и порадовался, что вы его, по крайней мѣрѣ, не тронули.

— Тронуть его, отвѣчаетъ,—невозможно, потому что онъ не свободнаго трудолюбія, а при графѣ въ мерзавцахъ служить; но я хочу знать: кто его подкунилъ, чтобы мнѣ эту подлость сдѣлать?

А Конычъ, по своей простотѣ, сталъ барина утѣшать.

— Не ищите, говоритъ,—сударь, подученія. Лапутиныхъ, точно, много есть, и есть между нихъ люди очень честные, какъ, напримѣръ, мой покойный дѣдушка,—онъ по всей Москвѣ стелечки продавалъ...

А онъ меня вдругъ съ этого слова вразъ черезъ всю спину палкою... Я и убѣжалъ, и съ тѣхъ поръ его не видать, а только слышалъ, что они съ супругой за границу во Францію уѣхали, и онъ тамъ разорился и умеръ, а она надъ нимъ памятникъ поставила, да, говорить, по случаю,

съ такую надпись, какъ у меня на вывѣскѣ: «Легуланъ». Такъ и вышли мы опять однофамильцы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Василій Коничь закончилъ, а я его спросилъ: почему онъ теперь не хочетъ переимѣнить вывѣски и выставить опять свою законную, русскую фамилію?

— Да зачѣмъ, говорить,—сударь, ворошить то, съ чего повое счастье стало, черезъ это можно вредъ всей окрестности сдѣлать.

— Окрестности-то какой же вредъ?

— А какъ же-съ, моя французская вывѣска, хотя, положимъ, всѣ знаютъ, что одна лаферма, однако, черезъ нее наша мѣстность другой эффектъ получила, и дома у всѣхъ сосѣдей совсѣмъ другой противъ прежняго профитъ имѣютъ.

Такъ Коничь и остался французомъ для пользы обывателей своего замоскворѣцкаго закоулка, а его знатный однофамилецъ безъ всякой пользы сгнилъ подъ псевдонимомъ у Перъ-Ланеза.

ЖИДОВСКАЯ КУВЫРКОЛЛЕГІЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣло было на святкахъ послѣ большихъ еврейскихъ погромовъ. Событія эти служили повсемѣстно тембю для живыхъ и иногда очень страшныхъ разговоровъ на одну и ту же тему: какъ намъ быть съ евреями? Куда ихъ выпроводить, или кому подарить, или самимъ ихъ на свой ладъ передѣлать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практическіе изъ собесѣдниковъ встрѣчали въ обоихъ этихъ случаяхъ неудобство и болѣе склонялись къ тому, что лучше евреевъ приспособить къ своимъ домашнимъ надобностямъ.—но преимуществу изнурительнымъ, которыя вели бы родъ ихъ на убыль.

— Но это вы, господа, задумываете что-то въ родѣ «египетской работы»,— молвилъ нѣкто изъ собесѣдниковъ...— Будетъ ли это современно?

— На современность намъ смотрѣть нечего,—отвѣчалъ другой:—мы живемъ внѣ современности, но евреи прескверные строители, а наши инженеры и безъ того гадко строить. А вотъ война... военное дѣло тоже убыточно, и чѣмъ намъ лить на поляхъ битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскою.

Съ этимъ согласились многіе, но только слышались возраженія, что евреи ничего не стѣять какъ воины, что они—трусы и имъ совсѣмъ чужды отвага и храбрость.

А тутъ сидѣлъ одинъ изъ заслуженныхъ военныхъ, который замѣтилъ, что и храбрость, и отвагу въ сердца жидовъ можно влить.

Всѣ засмѣялись и кто-то замѣтилъ, что это до сихъ поръ еще никому не удавалось.

Военный возразилъ:

— Напрогивъ, удавалось, и притомъ съ самымъ блестящимъ результатомъ.

— Когда же это и гдѣ?

— А это цѣлая исторія, о которой я слышалъ отъ очень вѣрнаго человѣка.

Мы попросили, рассказать, и тотъ началъ.

— Въ Кіевѣ, въ сороковыхъ годахъ, жилъ нѣкто полковникъ Стадниковъ. Его многіе знали въ мѣстномъ высшемъ кругѣ, образовавшемся изъ чиновнаго населенія, и въ средѣ настоящаго кіевскаго аристократизма, каковымъ слѣдуетъ, безъ сомнѣній, признавать «кіевскихъ старожилыхъ мѣщанъ». Эти хранили тогда еще воспоминанія о своихъ магдебургскихъ правахъ и своихъ предкахъ, вывзжавшихъ, въ силу тѣхъ правъ, на днѣпровскую Иордань верхомъ на коняхъ и съ ружьями, которыя они, по командѣ, то скидывали на плечо, то опускали «товстымъ кінцемъ до чобота!» Захудалые потомки этой настоящей кіевской знати именовали Стадникова «Шганиковымъ»; такъ, вѣроятно, на ихъ вкусъ выходило больше «по-московски» или, просто, такъ было легче для ихъ мягкаго и нѣжнаго произношенія.

Стадниковъ пользовался въ городѣ хорошею репутаціею и добрымъ расположеніемъ; онъ былъ отличный стрѣлокъ и, какъ настоящій охотникъ, самъ не бѣлъ дичи, а всегда ее раздаривалъ. Поэтому извѣстная доля общества была даже заинтересована въ его охотничьихъ успѣхахъ. Кромѣ того, полковникъ былъ, что называется, «пріятный собесѣдникъ». Онъ уже довольно прожилъ на своемъ вѣку; честно служилъ и храбро сражался; много видѣлъ умнаго и глупаго и при случаѣ умѣлъ рассказать занимательную исторію.

Въ разсказахъ Стадниковъ всегда держался короткаго, такъ сказать, лапидарнаго стиля, въ которомъ прославился король баварскій, но наивысшаго совершенства, по моему мнѣнію, достигъ Степанъ Александровичъ Хрулевъ.

Стадниковъ, впрочемъ, и съ вида былъ похожъ на Хрулева, да имѣлъ и нѣкоторыя другія, сходныя съ нимъ, черты. Такъ, онъ, напримѣръ, подобно Хрулеву, могъ играть

въ карты безъ сна и безъ отдыха по цѣлой недѣлѣ. Со-перники въ этой выносливости у него во всемъ. Кіевѣ не было ни одного, но были только два, достойные его силъ, партнера. Одинъ изъ нихъ былъ просто іерей, а другой—протоіерей. Перваго изъ нихъ звали Евфиміемъ, а другаго—Василіемъ. Оба они были люди предобрыи и пользовались въ городѣ большою извѣстностью, а притомъ обладали какъ замѣчательными силами физическими, такъ и дарами духовными. Но при всемъ томъ полковникъ далеко превосходилъ ихъ въ выносливости и однажды до того ихъ спуталъ, что отецъ протоіерей, перейдя отъ карточного стола къ совершенію утренняго служенія, не въ-время позабылъ и, вмѣсто поюженнаго возгласа: «яко твое царство»,—возгласилъ причетнику: «пасетъ!»

Впрочемъ, въ доброй компаніи, которая состояла изъ этихъ трехъ милыхъ людей, не только дѣлали, что играли: случалось, что они иногда отрывались отъ картъ для другихъ занятій, напримѣръ, закусывали и кое-о-чемъ говорили. Разсказывали, впрочемъ, по преимуществу, болѣе одинъ Стадниковъ и, какъ нѣкоторые примѣчали, онъ, будто бы, какъ разсказчикъ, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцвѣчалъ» свои новѣствованія, или, какъ по-охотничьи говорится, немножко привиралъ, но вѣдь безъ этого и невозможно. Довольно того, что полковникъ дѣлалъ это такъ складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать отъ дѣйствительной основы. Притомъ же Стадниковъ былъ неуступчивъ и переспорить его было невозможно. Разсказывали, будто полковникъ побѣдоносно выходилъ изъ всевозможныхъ въ этомъ родѣ затрудненій до того, что его никто никогда не останавливалъ и ему не возражали; да это и было бесполезно. Одинъ разъ полковникъ ошибкой или по увлеченію сказалъ, будто онъ имѣлъ гдѣ-то въ стѣнахъ орднскихъ овецъ, у которыхъ было по пуду въ курдюкѣ, а нѣкто, случившійся здѣсь, перехватилъ еще болѣе, что у его овецъ по пуду слинкомъ... Полковникъ только посмотрѣлъ на смѣльчака и спросилъ съ состраданіемъ:

— Да, но что же такое было въ хвостахъ у вашихъ овецъ?

— Разумѣется, сало,—отвѣчалъ собесѣдникъ.

— Ага, то-то и есть! А у моихъ былъ воскъ!

Умъ и покончилъ. Разумѣется, съ такимъ человѣкомъ спорить было невозможно, но слушать его пріятно.

Говорить здѣсь любили о матеріяхъ важныхъ, и одинъ разъ тутъ при мнѣ шла замѣчательная рѣчь о министрахъ и царедворцахъ, причемъ всѣ тогдашніе вельможи были подвергаемы очень строгой критикѣ; но вдругъ усилиемъ одного изъ іереевъ былъ выдвинутъ и высоко превознесенъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ, который «одинъ изъ всѣхъ» не взялъ денегъ съ жидовъ и настоялъ на призывѣ евреевъ къ военной службѣ, наравнѣ со всѣми прочими податными людьми въ русскомъ государствѣ.

Исторія эта, сколько помню, излагалась тогда такимъ образомъ.

Когда государь Николай Павловичъ обратилъ вниманіе на то, что жида не несутъ рекрутской повинности, и захотѣлъ обсудить это съ своими совѣтниками, то жида подкупили, будто, всѣхъ важныхъ вельможъ и согласились совѣтовать государю, что евреевъ нельзя брать въ рекруты на томъ основаніи, что «они всю армію перепортятъ». Но не могли жида задарить только одного графа Мордвинова, который былъ хоть и не богатъ, да честенъ, и держался насчетъ жидовъ такихъ мыслей, что если они живутъ на русской землѣ, то должны одинаково съ русскими нести всѣ тягости и служить въ военной службѣ. А что насчетъ порчи арміи, то онъ этому не вѣрилъ. Однако, евреи все-таки отъ своего не отказывались и не теряли надежды сдѣлаться какъ-нибудь съ Мордвиновымъ: подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкаго графу бѣднаго родственника и склонили его за немалый даръ, чтобы онъ упросилъ Мордвинова принять ихъ и выслушать всего только «два слова»; а своего слова онъ имъ могъ ни одного не сказать. Иначе, дали намекъ, что они все равно, если не такъ, то иначе графа остепенятъ.

Бѣдный родственникъ соблазнился, принялъ жидовскіе дары и говоритъ графу Мордвинову:

— Такъ и такъ, вы меня при моей бѣдности можете осчастливить.

Графъ спрашиваетъ:

— Что же для этого надо сдѣлать, какую неправду?

А бѣдный родственникъ отвѣчаетъ:

— Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы

для меня два жидовскія слова выслушали и ни одного своего не сказали. Черезъ это, — говоритъ, — и вамъ собственный покой и интересъ будетъ.

Графъ подумалъ, улыбнулся и, какъ имѣлъ сердце очень доброе, то отвѣчалъ:

— Хорошо, такъ и быть, я для тебя это сдѣлаю: два жидовскія слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственникъ побѣждалъ къ жидамъ, чтобы ихъ обрадовать, а они ему сейчасъ же обѣщанный даръ выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривенъ за штуку, только не прямо изъ рукъ въ руки кучкой дали, а каждый лобанчикъ по столу, покрытому сукномъ, переныгнули, отчего съ каждаго золотого на четвертакъ золотой пыли соскочило и въ ихъ пользу осталось. Бѣдный же родственникъ ничего этого не понялъ и сейчасъ побѣждалъ себѣ домикъ купить, чтобы ему было гдѣ жить съ родственниками. А жида на другое же утро къ графу и принесли съ собою три сельдяныхъ боченка.

Камердинеръ графскій удивился, съ какой это стати графу селедки принесли, но дѣлать было нечего, допустилъ положить тѣ боченки въ залъ и пошелъ доложить графу. А жида, межъ тѣмъ, пока графъ къ нимъ вышелъ, эти свои сельдяные боченки раскрыли и въ нихъ срѣзь съ краями полно золота. Всѣ монетки новенькія, какъ жаръ горять, и биты однимъ калибромъ: по пяти рублей пятнадцати копеекъ за штуку.

Мордвиновъ вошелъ и сталъ молча, а жида показали руками на золото и проговорили только два слова:

«Возьмите, — молчите», а сами съ этимъ повернулись и, не ожидая никакого отвѣта, вышли.

Мордвиновъ велѣлъ золото убрать, а самъ поѣхалъ въ государственный совѣтъ и, какъ пришелъ, то точно воды въ ротъ набралъ, — ничего не говоритъ... Такъ онъ молчалъ во все время, пока другіе говорили и доказывали государю всѣми доказательствами, что евреямъ нельзя служить въ военной службѣ. Государь замѣтилъ, что Мордвиновъ молчитъ, и спрашиваетъ его:

— Что вы, графъ Николай Семеновичъ, молчите? Для какой причины? Я вамъ мнѣніе знать очень желаю.

А Мордвиновъ будто отвѣчалъ:

— Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидомъ продался.

Государь большіе глаза сдѣлалъ и говоритъ:

— Этого быть не можетъ.

— Нѣтъ, точно такъ, — отвѣчаетъ Мордвиновъ: — я три сельдяные бочонка съ золотомъ взялъ, чтобы ни одного слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказалъ:

— Если вамъ три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тѣмъ, которые взялись говорить?.. Но мы это теперь безъ дальнихъ словъ покончимъ.

И съ этимъ взялъ со стола проектъ, гдѣ было написано, чтобы евреевъ брать въ рекруты наравнѣ съ прочими, и написалъ: «быть по сему». Да въ прибавку повелѣлъ еще за тѣхъ, кои, если уклоняться вздумаютъ, то брать за нихъ трехъ, вмѣсто одного, штрафу.

Кажется, это построено слишкомъ по австрійскому анекдоту, извѣстному подъ заглавіемъ: «одно слово министру...» Изъ этого давно сдѣлана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрахъ и близко знакома русскимъ по превосходному исполненію Самойловымъ трудной мимической роли жида; но въ то время, къ которому относится мой рассказъ, этотъ слухъ ходилъ повсемѣстно, и всѣ ему исполнѣ вѣрили, и русскіе восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.

Анекдотъ этотъ былъ цѣлкомъ вспомнятъ въ той задушевной бесѣдѣ полковника Стадникова съ іереями Васи́ліемъ и Евфиміемъ, съ которой начинается нашъ рассказъ, и отсюда рѣчь повели далѣе.

Не любившій дѣлать въ чемъ бы то ни было уступки, полковникъ не выдержалъ и сказалъ:

— Да, эта пьеса всеѣмъ знакома, и давно вы ее все думите, а того никто не знаетъ, что все бы это ни къ чему еще не повело, если бы въ это дѣло не вмѣшался еще одинъ человекъ. — И неуступчивый полковникъ сейчасъ же пояснилъ, что Мордвиновъ настроилъ это дѣло только въ георіи, а на самомъ исполненіи оно еще могло погибнуть. И въ этой своей, гораздо болѣе важной, части оно спасено другимъ лицомъ, съ которымъ Мордвиновъ, по справедливости, долженъ бы подѣлиться честью. Но какъ справедли-

вости жить на землѣ, то этотъ достойный человекъ не только ничѣмъ не награжденъ, но даже остается въ полнѣйшей неизвѣстности.

— А кто же это такой?—вопросили оба іерея.

— Это одинъ простодушный кромчанинъ незнатнаго происхождения, но имени Симеонъ Машкинъ или Мамашкинъ, — судя по фамиліи, должно-быть, сынъ пылкой, но незаконной любви, которому я далъ за всю его патриотическую услугу три гривеника, да и тѣ ему винокъ не пошли.

Отцы іереи вспомнили, какъ полковникъ спорилъ про бараньи курдюки, и сказали:

— Ну, это вы, вѣроятно, опять что-нибудь такое, изъ чего воскъ выйдетъ.

По полковникъ отвѣчалъ, что это не воскъ, а исторія, и притомъ самая настоящая, самая правдивая исторія, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидѣтельствуетъ о ясномъ умѣ и глубокой сообразительности человека изъ народа.

— Ну, такъ подавайте вашу исторію и, если она интересна, мы ее охотно послушаемъ.

— Да, она очень интересна, — сказалъ Стадниковъ и, переставъ тасовать карты, началъ слѣдующее повѣствованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вѣсть, что еврейская просьба объ освобожденіи ихъ отъ рекрутства не выиграла, стрѣлою пролетѣла по пантофлевой почтѣ во все мѣста ихъ осѣлости. Тутъ сразу же и по городамъ, и по мѣстечкамъ поднялся ужасный гвалтъ и вой. Жиды кричали громко, а жидовки еще громче. Все исполнилось и заметалось какъ угорѣлые. Совсѣмъ потеряли головы и не знали, что дѣлать. Даже не знали, какому Богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что къ покойному императору Александру Павловичу руки вверхъ все поднимали и вопили на небо:

— Ай, Александръ, Александръ, посмотри, что съ нами твои Миколайчики робитъ!

Думали, вѣрно, что Александръ Павловичъ, по огромной своей деликатности, оттуда для нихъ пазадъ въ Ильинной колесницѣ спустится и братнино слово «быть по сему» вычеркнетъ.

Долго они съ этимъ, какъ угорѣлые, по школамъ и ба-

зарамъ бѣгали, по никого съ неба не выкликали. Тогда всѣ вдругъ это бросили и начали, куда кто могъ, дѣтей прятать. Отлично, шельмы, прятали, такъ что никто не могъ разыскать. А которымъ не удалось спрятать, тѣ ихъ калѣчили,—плакали, а калѣчили, чтобы сдѣлать негодными.

Въ нѣсколько дней все молодое жидовство, какъ талый снѣгъ, въ землю ушло или поверглось въ отвратительныя лихія болѣсти. Этакой гадости, какую они надъ собой производили, кажется, никогда и не видала наша сарматская сторона. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злокачественными золотушными паршами, какихъ ни на одной русской собакѣ до тѣхъ поръ было не выдано; другіе сдѣлали себѣ надучую болѣзнь; третьи охромѣли, окривѣли и осухоручили. Бретонскіе комирачкосы, надо полагать, даже не знали того, что тутъ умѣли дѣлать. Въ Вердичевѣ были слухи, будто бы объявился такой докторъ, который бралъ сто рублей за «прецентъ», отъ котораго «книжки наружу выходили, а душа въ тѣлѣ сидѣла». Во многихъ польскихъ аптекахъ продавалось какое-то жестокое снадобье подъ невиннымъ и притомъ исковерканнымъ названіемъ: «капель съ датскаго корабля». Отъ этихъ капель человекъ надолго, чуть ли не на цѣлые полгода, терялъ владѣніе всѣми членами и выдерживалъ самое тщательное испытаніе въ госпиталяхъ *). Все это покунали и употребляли, предпочитая, кажется, самыя ужасныя увѣчья служебной неволѣ. Только умирать не хотѣли, чтобы не сокращать чрезъ то родъ израилевъ.

Наборъ, назначенный вскорѣ же послѣ рѣшенія вопроса, съ самаго начала пошелъ ужасно туго, и вскорѣ же пондобились самыя крутыя мѣры побужденія, чтобы законъ, съ грѣхомъ пополамъ, былъ исполненъ. Приказано было за каждаго недонмочнаго рекрута брать трехъ штрафныхъ. Тутъ уже стало не до шутокъ. Сдатчики набирали кое-какихъ, преимущественно, разумѣется, бѣдняковъ, за которыхъ стоять было некому. Между этими попадались и здоровенькіе, такъ какъ у нихъ, видно, не хватало средствъ, чтобы купить спасительныхъ капель «съ датскаго корабля». Иной, бывало, свеклой ноженьки вымажетъ или ободранный козій хвостикъ

*) О такомъ же способѣ рассказывать въ одномъ мѣстѣ извѣстный знатокъ солдатской жизни А. О. Погоескій. Секретъ этотъ знали и русскія знахарки и обманывали имъ врачей съ блистательнымъ успѣхомъ.

себѣ приткнеть, будто кишки изъ него валятся, но сейчасъ у него это вытащатъ и браво — лобъ забреютъ, и елужи Богу и государю вѣрой и правдой.

Со всѣми возмутительными мѣрами побужденія кое-какіе полукалѣки, наконецъ, были забриты и началась новая мѣка съ ихъ устройствомъ къ дѣлу. Вдругъ сюрпризомъ начало обнаруживаться, что евреи воевать не могутъ. Здѣсь уже вашъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ никакой помощи намъ оказать не могъ, а военные люди струсили, какъ бы «не пошелъ портежъ въ армію». Жидки же этого, разумѣется, весьма хотѣли и пробовали привести въ дѣйство хитрость несказанную.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Набрано было евреевъ въ войска и взрослыхъ, и малолѣтокъ, которымъ минуло будто уже двѣнадцать лѣтъ. Взрослыхъ было немного сравнительно съ малолѣтками, зато съ ними возни было во сто разъ болѣе, чѣмъ съ малолѣтками. Маленькихъ помѣщали въ батальоны военныхъ кантонистовъ, гдѣ наши отцы духовные, по распоряженію отцовъ-командировъ, въ одно мановеніе ока приводили этихъ ребятиншекъ къ познанію истинъ православной христіанской вѣры и крестили ихъ во славу имени Господа Іисуса, а со взрослыми это было гораздо труднѣе, и потому ихъ оставляли при всемъ ихъ вехтозавѣтномъ заблужденіи и размѣщали въ небольшомъ количествѣ въ команды.

Все это была, какъ я вамъ сказать, самая преноганая калѣчь, способная наводить одно уныніе на фронтъ. И жалостно, и смѣшно было на нихъ смотрѣть, и поневолѣ думалось:

«Изъ-за чего и споръ былъ? Стоило ли брать въ службу такихъ козероговъ, чтобы ими только фронтъ поганить?»

Само дѣло показывало, что надо ихъ убирать куда-нибудь съ глазъ подальше. Въ большинствѣ случаевъ они и сами этого желали и сразу же, обнявъ умомъ свое новое положеніе, старались понадать въ музыкантскія школы или въ швальни, гдѣ нѣтъ дѣла съ ружьемъ. А отъ ружья пятились хуже, чѣмъ чортъ отъ поповскаго кропила, и вдругъ обнаружили твердое намѣреніе отъ настоящаго военного ремесла совсѣмъ отбиться.

Въ этомъ родѣ и началась у насъ могущественная игра

природы, которой вряд ли быть бы выигранною, если бы на помощь государству не пришел острый гений Семена Маманкина. Задумано это было очень серьезно и, по несчастію, начало практиковаться какъ разъ въ той маленькой отдѣльной части, которую я тогда командовалъ, имѣя въ своемъ вѣдѣніи трехъ жидовиновъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Я тогда былъ въ небольшомъ чинѣ и стоялъ съ ротою въ Бѣлой Церкви. (Свой чинъ полковника Стадниковъ почиталъ уже большимъ. Тогда на чины было поскупѣ нынѣшняго). Бѣлая Церковь, какъ вамъ извѣстно, это жидовское царство: все мѣстечко сплошь жидовское. Они тутъ имѣютъ свою вторую столицу. Первая у нихъ—Бердичевъ, а вторая, болѣе старая и болѣе загаженная,—Бѣлая Церковь. У нихъ это соотвѣтствуетъ своего рода Петербургу и Москвѣ. Такъ это и въ жидовскихъ прибауткахъ сказывается.

Жизнь въ Бѣлой Церкви, можно сказать, была и хорошая, и прескверная. Виденъ палацъ Браницкихъ и ихъ роскошный паркъ—Александрія. Рѣка тоже прекрасная и чистая, Рось, которая свѣжитъ однимъ своимъ пріятнымъ названіемъ, не говоря уже объ ея прозрачныхъ водахъ. Воды эти текутъ среди такихъ береговъ, которыми вволю цалобоваться нельзя, а въ мѣстечкѣ такая жидовская нечисть, что жить невозможно. Всякій день, бывало, дегтярнымъ мыломъ съ ногъ до головы моешься, чтобы не покрыться паршами или коростой. Это—одна противность квартированія въ жидовскихъ мѣстечкахъ; а другая заключается въ томъ, что какъ ни вертись, а безъ жидовъ тутъ совсѣмъ пропасть бы пришлось, потому что жидъ сапоги шьетъ, жидъ кастрюли лудитъ, жидъ булки печетъ, — все жидъ, а безъ него ни «пру», ни «ну». Противное положеніе!

Офицеровъ со мною было три человѣка, да все, какъ говорятъ, съ бычками. Одинъ изъ нихъ, всѣхъ постарше, былъ русскій, по фамиліи Рословъ, изъ солдатъ, все Богу молился и каждое первое число у себя водосвятіе правилъ. Жидовъ онъ за людей не считалъ. Другой былъ нѣмецъ, по фамиліи Фингершпилеръ, очень большой чистюля: снаружи все чистился, а изнутри, по собственному его выраженію, «сохранялъ себя въ спирту», т. е. былъ всегда пьянъ.

Въ рѣдкія минуты просвѣтленія, когда Фингеринилеръ случался безъ спиртнаго сохраненія, онъ былъ очень скоръ на руку, но, впрочемъ, службистъ. Третій же, въ чинѣ прапорщика, только что былъ произведенъ изъ фендриковъ, въ которые его сдали тетки, недовольныя какими-то его семейными качествами. И онъ, и его тетки были рускіе, но за какое-то наказаніе или, можетъ-быть, для важности—судьба дала имъ иностранныя фамиліи и притомъ пресмѣшныя. Изъ его собственной фамиліи солдаты сдѣлали «Полуфертъ», а тетки его назывались, кажется: одна—мадамъ Сижу, а другая—мадамъ Лежу. Ни въ одномъ изъ этихъ господъ я не имѣлъ настоящаго помощника на предстоящій мнѣ трудный подвигъ, но прапорщикъ былъ мнѣ всѣхъ вреднѣе. Полуфертъ имѣлъ отвратительныя свойства. Это былъ аристократически-глупый хлыщъ и нестерпимый резонеръ, а въ то же время любилъ деньги и не страдалъ разборчивостью въ средствахъ для ихъ приобрѣтенія. Онъ даже занималъ деньги у фельдфебеля и не отдавалъ ихъ ему въ срокъ, но любилъ дѣлать дамамъ презенты и сопровождалъ ихъ стихами своего сочиненія. Но что было для меня всего непереносимѣе въ этомъ человѣкѣ—это его ужасная привычка говорить по-французски, тогда какъ онъ, несмотря на свою полуфранцузскую фамилію, не зналъ ни одного слова на этомъ языкѣ. На день, на два—это смѣшно, но въ долготѣ дней, на лѣтнемъ постой, такая штука нервнаго человѣка въ гробъ уложить можетъ. Службою Полуфертъ занимался мало, а больше всего рисовалъ родословное дерево съ длинными хворостинами, на которыхъ онъ разсаживалъ въ кружкахъ какихъ-то перенелокъ съ коронами на макушкахъ. Это все были его предки, черезъ которыхъ онъ имѣлъ твердое намѣреніе доказать свое прямое родство съ какою-то княжескою линією отъ Бурбонскихъ блюдолизовъ. Тутъ же были и m-me Сижу и m-me Лежу.

Полуферту очень хотѣлось быть княземъ, и то съ корыстною цѣлью, чтобы жениться въ Москвѣ на какой-нибудь богатой купчихѣ. Пока онъ искалъ тридцати тысячъ взаймы, чтобы дать кому-то въ герольдіи за утвержденіе его въ княжествѣ; но только у насъ-то ни у кого такихъ денегъ не было, и онъ твердилъ себѣ на вѣтеръ:

— Муа же сюн юнъ пренсь!

Это «иренсъ» было для него самое главное въ жизни, а между тѣмъ, при ханжествѣ одного офицера и пьянствѣ другого, этотъ Полуфертъ былъ моимъ самымъ надежнымъ помощникомъ въ то роковое время, когда мнѣ въ роту были присланы три новобранца-жидовина, изъ которыхъ отъ каждаго можно было прійти въ самое безнадежное отчаяніе. Попробую ихъ вамъ представить.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Одинъ изъ трехъ первозванныхъ жидовъ, мною полученныхъ, былъ рыжій, другой—черный или вороной, а третій—пестрый или цѣгій. По послѣднему прошла какая-то прелюбопытная игра причудливой природы: у него на головѣ были три цвѣта волосъ и располагались они, не переходя изъ тона въ тонъ съ какою-нибудь постепенностью, а прямо располагались пестрыми клочками другъ возлѣ друга. Вся его башка была какъ будто холодильный пузырь изъ шотландской клеенки—вся пестрая. Особенно чудень былъ хохоль—весь сѣдой, отчего этотъ жидовицъ имѣлъ нѣкоторымъ образомъ видъ чорта, какихъ пишутъ наши благочестивые изографы на древнихъ иконахъ.

Словомъ, изъ всѣхъ трехъ, что ни портретъ—то розга, по каждый антикъ въ своемъ родѣ; такъ, напримѣръ, у рыжаго физія была прехитрая и презлая, и, къ тому же, онъ заикался. Черный смотрѣлъ дуракомъ и на самомъ дѣлѣ былъ не умель или, по крайней мѣрѣ, всѣ мы такъ думали до известнаго случая, когда мудрецъ Маманкинъ и въ немъ умъ отыскалъ. У этого брюнета были престранной толщины губы и такой жирный языкъ, что онъ во рту не вмѣщался и все паружу лѣзь. Одно то, чтобы выучить этого франта языкъ за губы убирать, ни вѣсть какихъ трудовъ стоило, а къ обученію его говорить по-русски мы даже и приступить не смѣли, потому что этому вся его природа противилась, и онъ, при самыхъ усиленныхъ стараніяхъ что-нибудь выговорить, могъ только плеваться. По третій, цѣгій или пестрый, имѣлъ безобразіе, которое мени даже къ нему какъ-то располагало. Это былъ человѣкъ удивительно плоскорожій, съ виальми глазами и однимъ только жидовскимъ носомъ на выкатѣ; но выраженіе лица имѣлъ страдальческое и притомъ онъ лучше всѣхъ своихъ товарищей умѣлъ говорить по-русски.

Лѣтами этотъ пѣгій былъ старше товарищей: тѣмъ двумъ было этакъ лѣтъ по двадцати, а пѣгому, хотя значилось двадцать четыре года, но онъ увѣрялъ, будто ему уже есть лѣтъ за тридцать. Въ эти годы жидовъ уже нельзя было сдавать въ рекруты, но онъ, вѣроятно, былъ сданъ на основаніи присяжнаго удостовѣренія двѣнадцати добросовѣстныхъ евреевъ, поклонившихся всемогущимъ Еговою, что пѣгому только двадцать четыре года.

Клятвенное преступничество тогда было въ больномъ ходу и даже являлось необходимою, такъ какъ жида или совѣмъ не вели метрическихъ книгъ, либо предусмотрительно пожгли ихъ, какъ только слышали, «что зъ ними Миколойчикъ зробытъ». Безъ книгъ лѣта ихъ стали опредѣлять по такъ-называемому присяжному разысканію. Соберутъ, бывало, двѣнадцать прохвостовъ, приведутъ ихъ къ присягѣ съ незамѣтнымъ нарушеніемъ формъ и обрядовъ,—и тѣ врутъ, что имъ закажутъ. Кому надо назначить сколько лѣтъ, столько они и покажутъ, а власти обязаны были имъ вѣрить... Смѣхъ и грѣхъ!

Такъ, бывало, и расхаживаютъ такія шайки присяжныхъ разбойниковъ, всегда числомъ по двѣнадцати, сколько законъ требуетъ для несомнѣнной вѣрности, и при нихъ всегда, какъ при артели, свой рядчикъ, который ихъ водить по должностнымъ лицамъ и освѣдомляется:

— Чи нема чога присягать?

Отвратительнѣйшее раставіе, до какого едва ли кто иной доходилъ, и все это, повторю, будучи прикрыто именемъ всемогущаго Еговы, принималось русскими властями за доказательство и даже протезировалось...

Такъ былъ сданъ и мой пѣгій воинъ, котораго имя было Лейзеръ, или по-нашему,—Лазарь.

И имя это чрезвычайно ему шло, потому что онъ весь, какъ я вамъ говорю, былъ прежалкій и впушалъ къ себѣ большое состраданіе.

Всегда этотъ Лазарь былъ смиренъ и безответенъ; всегда смотрѣлъ прямо въ глаза, точно сейчасъ высѣченный пудель, который старается прочитатъ въ вашемъ взглядѣ: кончена ли произведенная надъ нимъ экзекуція или только рука у васъ устала и, по маломъ ея отдыхѣ, начнется новое продолженіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пѣгій былъ дамскій портной и, слѣдуя влеченію природы, принесъ съ собою изъ міра въ команду свою портновскую иглу съ вошеной ниткой и ножницы, и немедленно же открылъ мастерскую и пошелъ всей этой инструментной дѣйствовать.

Болѣе онъ производилъ какія-то «фантази» — изъ стараго дѣлалъ новое, потому что тогда въ провинціи въ моду вошли какія-то этакія особенныя мантиліи, которыя назывались «палантины». Забавная была штука: фасонъ — совершенно какъ будто мужскія панталоны, — такъ это и носили: назади за спиною у дамы словно огузье треплется, а напередъ, черезъ плечи, двѣ штанины спущены. Пресмѣшно, точно солдатъ, который штаны вымылъ и домой ихъ несетъ, чтобы на вѣтеркѣ сохли. И сходство это солдатами было замѣчено и вело къ нѣкоторымъ неприяностямъ, которымъ я долженъ былъ положить конецъ весьма энергическою мѣрою.

Вымоги бывало, солдатъ на рѣкѣ свои бѣлые штаны, накинетъ ихъ на плечи палантиномъ и идетъ. А одинъ до того разрѣзвился, что, встрѣтись съ становихой, присѣлъ ей по-дамски и сказалъ:

— Кланяйтесь бабушкѣ и поцѣлуйте ручку.

Становой на это пожаловался, и я солдатика велѣлъ выѣчь.

Лазарь отлично строилъ эти палантины изъ старыхъ платьевъ и нарядилъ въ нихъ всѣхъ бѣлоцерковскихъ панъ и панянокъ. Но, впрочемъ, говорили, что онъ тоже и новыя платья будто хорошо шилъ. Я въ этомъ, разумѣется, не знатокъ, но меня удивляло его досужество — какъ онъ добывалъ для себя работу и гдѣ находилъ мѣсто ее производить? Тоже удивительна мнѣ была и цѣна, какую онъ бралъ за свое артистическое искусство: за цѣлое платье онъ бралъ отъ четырехъ до пяти злотыхъ, т. е. шестьдесятъ или семьдесятъ пять копеекъ. А палантины прямо ставилъ по два злота за штуку и притомъ половину изъ этого еще отдавалъ фельдфебелю или, по-ихнему — «подфебелю», чтобы отъ него помѣхи въ работѣ не было, а другую половину посылалъ куда-то въ Нѣжинъ или въ Каменецъ семейству «на воспитаніе ребенковъ и прочаго семейства».

«Ребенковъ» у него было, по его словамъ, что-то очень много, едва ли не «семь штукъ», которые «всѣ себѣ имѣютъ желудки, которые кушать просить».

Какъ не почтить челоуѣка съ такими семейными добродѣтелями, и мнѣ этого Лазаря, повторю вамъ, было очень жалко, тѣмъ больше, что, обиженный отъ своего собственного рода, онъ ни на какую помощь своихъ жидовъ не падѣлся и даже выражать къ нимъ горькое презрѣніе, а это, конечно, не проходитъ даромъ, особенно въ родѣ жидовскомъ.

И его разъ спросилъ:

— Какъ ты это, Лазарь, своего рода не любишь?

А онъ отвѣчалъ, что добра отъ нихъ никакого не видѣлъ.

— И въ самомъ дѣлѣ, говорю я,—какъ они не пожалѣли, что у тебя семь «ребенковъ» и въ рекруты тебя отдали? Это безсовѣстно.

— Какая же,—отвѣчаетъ онъ:— у нашихъ жидовъ совѣсть?

— И, молъ, думалъ, что, по крайности, хоть противъ своихъ они чего-нибудь посоветятся, вѣдь вы всѣ одной вѣры.

Но Лазарь только рукою махнулъ.

— Неужели, спрашиваю,—они ужъ и Бога не боятся?

— Они, говоритъ,—Его въ школы запираютъ.

— Ишь, какіе хитрые!

— Да, хитрые ихъ, отвѣчаетъ,—на свѣтѣ нѣтъ.

Такимъ образомъ, если замѣчаете, мы съ этимъ нѣгнимъ рекрутомъ изъ жидовъ даже какъ будто единомыслили и пришли въ душевное согласіе, и я его очень полюбилъ и сталъ лелѣять тайное намѣреніе какъ-нибудь облегчить его, чтобы онъ могъ больше зарабатывать для своихъ «ребенковъ».

Даже въ примѣръ его своимъ ставилъ какъ трезваго и трудолюбиваго челоуѣка, который не только самъ постоянно работаетъ, но и обоихъ своихъ товарищей къ дѣлу приспосаблилъ: рыжій у него что-то подшивалъ, а черный губанъ утюги грѣлъ да носилъ.

Въ строю они учились хорошо; фигуры, разумѣется, имѣли не важныя, но выучились стоять прямо и носки на маршировкѣ вытягивать, какъ слѣдуетъ, по чину Мельхиседекову.

Вскорѣ и ружьемъ стали артикулъ выкидывать, — словомъ все, какъ подобало; но вдругъ, когда я къ нимъ совсѣмъ расположился и даже сдѣлался ихъ первымъ защитникомъ, они выкинули такую каверзу, что чуть съ ума меня не свели. Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость Мордвинова чуть подь плотину не выбросили, если бы не спасъ дѣла Мамашкинъ.

Вдругъ всѣ мои три жиды начали «падать»!

Все исполняютъ какъ надо: и маршировку, и ружейные приемы, а какъ имъ скоман্দуютъ: «пали!» — они выпалиятъ и повалятся, ружья бросятъ, а сами ногами дрыгаютъ...

И замѣтите, что вѣдь это не одинъ который-нибудь, а всѣ трое: и вороной, и рыжий, и пѣгій... А тутъ точно на зло, какъ разъ въ это время, получается извѣстiе, что генераль Ротъ, который жилъ въ своей деревнѣ подь Звенигородкою, собирается объѣхать всѣ части войскъ въ мѣстахъ ихъ расположенiя и будетъ смотрѣть, какъ обучены новыя рекруты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ротъ—это теперь для всѣхъ одинъ звукъ, а на насъ тогда это имя страхъ и трепетъ наводило. Ротъ былъ начальникъ самый бѣдовый, какихъ не дай Господи встрѣчать: человекъ сухой, формалистъ, желчный и злой, притомъ такая страшная придира, что угодить ему не было никакой возможности. Онъ всѣхъ изъ терпѣнiя выводилъ, и въ подвѣдомыхъ ему частяхъ тогда того только и ждали, что его кто-нибудь прикончитъ по образу графа Каменскаго или Аракчеевской Настьки. Былъ, папримѣръ, такой случай, что одинъ ремонтеръ, человекъ очень богатый, подержалъ пари, что онъ избѣжитъ отъ Рота всякихъ придирокъ, и въ этомъ своемъ усердiи ремонтеръ затратилъ на покупку лошадей много своихъ собственныхъ денегъ и зато привелъ такихъ превосходныхъ коней, что на любой императору сѣсть не стыдно. Особенно между ними одна всѣхъ восхищала, потому что во всѣхъ статьяхъ была совершенство. Но Ротъ, какъ сталъ смотрѣть, такъ у всѣхъ нашелъ недостатки и всѣхъ перебраковалъ. А какъ дошло дѣло до этой самой лучшей, тутъ и вышла исторiя.

Вывели эту лошадушку, а она такаа веселая, точно ба-

рышния, которая сама себя показать хочет: хвостъ и гриву разметала и заржала.

Ротъ къ этому и придрался:

— Лошадь, говорить, — хороша, а голосъ у нея скверный.

Тутъ ремонтеръ уже не выдержалъ.

— Это, говорить, — ваше высокопревосходительство, отъ того, что «ротъ» скверенъ.

Анекдотъ этотъ тогда разошелся по всей арміи.

Генераль понялъ, разсердился, а ремонтера въ отставку выгнать.

Съ такимъ-то, прости Господи, чортомъ мнѣ надо было видѣться и представлять ему падучихъ жидовъ. А они, замѣйте, успѣли уже произвести такой скандалъ, что солдаты ихъ зачислили особою командою и прозвали «Жидовская кувыркаленія».

Можете себѣ представить, каково было мое положеніе! Но теперь извольте же прослушать, какъ я изъ него выпутался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Разумѣется, мы всячески бились отучить нашихъ жидковъ отъ «падежа», и труды эти составляютъ весьма характерную исторію.

Самый первый одобрителный пріемъ въ строю тогдашняго времени былъ хорошій матеріальный окрикъ и дватри легкихъ угоденія шато-скуловоротомъ. Это подносилось не въ счетъ абонементъ, а потомъ слѣдовало поднятіе казенныхъ хвостиковъ у мундира за фронтомъ и, наконецъ, настоящіи розги въ обширной пропорціи. Все это и было испробовано какъ слѣдуетъ, но не помогло: опять чуть скомандуютъ «пали» — всѣ три жидовина съ ногъ валяются.

Велѣлъ я ихъ очень сильно взбрызнуть, и такъ сильно сбрызнули, что они перестали шить сидя, а начали шить лежа на животахъ, но все-таки при каждомъ выстрѣлѣ падаютъ.

Думаю: давай я ихъ попробую какими-нибудь трогательными резонами обрезать.

Призвалъ всѣхъ троихъ и обращаю къ нимъ свое командирское слово:

— Что это, говорю, — вы такое выдумали — падать?

— Сохрани Богъ, ваше благородіе, — отвѣчаетъ пѣгій: —

мы ничего не выдумываемъ, а это наша природа, которая намъ не позволяетъ палить изъ ружья, которое само стрѣляетъ.

— Это еще что за вздоръ!

— Точно такъ, отвѣчаетъ: — потому Богъ создалъ жидовъ не къ тому, чтобы палить изъ ружья, ежели которое стрѣляетъ, а мы должны торговать и всякія мастерства дѣлать. Мы ружьемъ, которое стрѣляетъ, все махать можемъ, а стрѣлять, если которое стрѣляетъ, — мы этого не можемъ.

— Какъ такъ «которое стрѣляетъ»? Ружье всякое стрѣляетъ, оно для того и сдѣлано.

— Точно такъ, — отвѣчаетъ онъ: — ружье, которое стрѣляетъ, оно для того и сдѣлано.

— Ну, такъ и стрѣляйте.

Послалъ стрѣлять, а они опять попадали.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Чортъ знаетъ, что такое! Хотя рапортъ по начальству подавай, что жиды по своей природѣ не могутъ служить въ военной службѣ.

Вотъ тебѣ и Мордвиновъ и вся его побѣда надъ супостатомъ!

Срамъ и досада! И стало мнѣ казаться, что надо мною даже свои люди издѣваются и подаютъ мнѣ насмѣшливые совѣты.

Такъ, напримѣръ, поручикъ Рословъ все совѣтовалъ «перепоротъ ихъ хорошенько».

— Поропы уже, говорю, — они достаточно.

— Выпоротъ, говоритъ, — еще ихъ «на-бѣло» и окрестить. Тогда они иной духъ примутъ.

Но отецъ-батюшка, который тамъ былъ, сомнѣвался и говорилъ, что крещеніе, пожалуй, не поможетъ, а онъ иное совѣтовалъ.

— Надо бы, говоритъ, — выписать изъ Петербурга протоіерейскаго сына, который изъ духовнаго званія въ технологию вышелъ.

— Что же, говорю, — тутъ технологецъ можетъ сдѣлать?

— А онъ, говоритъ, — когда въ прошломъ году къ отцу въ гости прѣзжалъ, то для маленькой племянницы, которая ходить не умѣла, такія ходульныя креслица сдѣлалъ, что она не падала.

— Такъ это вы хотите, чтобы и солдаты въ ходульныхъ креслицахъ ходили?

И только ради сана его не обругалъ матеріально, а посталъ его ко всѣмъ чертямъ мысленно.

А тутъ Полуфертъ приходитъ и говорить, что будто точно такая же кувыркалегія началась и въ другихъ частяхъ, которыя стояли въ Васильковѣ, въ Сквирѣ и въ Таращѣ.

— Я, даже, говорить, — «паръ сеть оказіенъ» и стихи написалъ: вотъ «экутэ», пожалуйста.

И начинается мнѣ читать какую-то свою риемованную окрошку изъ словъ жидовскихъ, польскихъ и русскихъ.

Цѣлымъ этимъ стихотвореніемъ, которое я немного помню, убѣдительно доказывалось, что свреямъ не слѣдуетъ и невозможно служить въ военной службѣ, потому что, какъ у моего поэта было написано:

«Жидъ, который привыкъ торговать
Люкемъ и гужалькемъ,
Ляпсардакъ класть на спину
И подпираеся съ палкемъ;
Жидъ, ктурый, якъ се уродзилъ,
Нигдѣ по водѣ безъ мосту не ходзилъ.»

И такъ далѣе, все «который», да «ктурый», и въ результатѣ то, что жиду никакъ нельзя служить въ военной службѣ.

— Такъ что же по-вашему съ ними дѣлать?

— Перенасе люи дань отръ режиманъ.

— Ага? «перепасе...» А вы, говорю, напрасно имъ записываете палантины для вашихъ «танте» шить.

Полуфертъ сконфузился и забожился.

— Нонъ, Дю маць гардъ, говорить, — я это просто такъ, а ву комъ вуде ву, и же ву зангаже въ цукерню— вышьемте по рюмочкѣ высочайше утвержденного.

И, разумѣется, не поинель.

Досада только, что чортъ знаетъ какіе у меня помощники, даже не съ кѣмъ посоветоваться: одинъ глупъ, другой пьянъ безъ просына, а третій только поэзію разводитъ, да что-то каверзигъ.

Но у меня былъ денщикъ-хохоль изъ породы этакихъ Шельменокъ; онъ видитъ мое затрудненіе и говорить:

— Ваше благородіе, осмѣливаюсь я вашему благородію

доложить, что какъ ваше благородіе съ жидами ничего не зрите, почему шо якъ ваше благородіе изъ Россіи, которыя русскіе люди къ жидамъ непривычныя.

— А ты, привычный, что ты мнѣ посовѣтуешь?

— А я, отвѣчаетъ, — тое вамъ присовѣтую, шо тутъ треба поляка приставить; есть у насъ капральный изъ поляковъ, отдайте ихъ тому поляку, — полякъ до жиды майстровитѣ.

И подумаль.

— А и справды попробовать! поляки ихъ круто донимали.

Полякъ этотъ былъ парень ловкій и даже очень образованный; онъ былъ изъ шляхты, не доказавшей дворянства, но обладалъ свѣдѣніями по исторіи и однажды пояснял мнѣ, что есть правленіе, которое называется республика, и есть другое — республиканція. Республика — это выходило то, гдѣ «есть король и публика, а республиканція, гдѣ нѣтъ королю ваканціи.»

Велѣлъ я позвать къ себѣ этого образованнаго шляхтича и говорю ему:

— Вѣдь ты, братецъ, полякъ?

— Дѣйствительно такъ, отвѣчаетъ, — римско-католическаго исповѣданія, вѣрноподданный его императорскаго величества.

— Ты, говорятъ, — отлично знаешь евреевъ?

— Еще какъ маленькій былъ, то ихъ тогда горохомъ дѣлюшкой стрѣлялъ для испуганія.

— Знаешь ты, какую у насъ жиды досаду дѣлають, — падаютъ. Не можешь ли ты ихъ отучить?

— Со всѣмъ моимъ удовольствіемъ.

— Ну, такъ я отдаю ихъ на твою отвѣтственность. Дѣлай съ ними что знаешь, только помни, что они уже до сихъ поръ и начерно и пабѣлю выпороны, такъ что даже сидѣть не могутъ, а лежа на брюхѣ работаютъ.

— Это, отвѣчаетъ, — ничего, не суть важно: жиды поляка не обманеть.

— Ну, види и дѣлай.

— Счастливо оставаться, говорить, — и завтра же узнаете, что Господь Богъ и поляка недаромъ создалъ.

— Хорошо, говорю, — доказывай.

На другой день иду посмотрѣть, какъ мои жиды обрѣ-

таются, и вижу, что всё они уже не сидят и не лежат на брюхѣ, а стоя шьютъ.

— Отчего, спрашиваю, — вы стоя шьете? развѣ вамъ такъ ловко?

— Никакъ нѣтъ, — совсѣмъ даже неловко, — отвѣчаютъ.

— Такъ отчего же вы не садитесь?

— Невозможно, отвѣчаютъ, — потому — мы съ этой стороны пострадали.

— Ну, такъ, по крайней мѣрѣ, хоть лежа на брюхѣ шейте.

— Теперь и такъ, говорятъ, — невозможно, потому что мы и съ этой стороны тоже пострадали.

Полякъ ихъ, извольте видѣть, по другой сторонѣ отстроичилъ. Въ этомъ и было все его тонкое доказательство, зачѣмъ Богъ поляка создалъ; а жидовское паденіе все-таки и послѣ этого продолжалось.

Узнавъ я, что мой Шельменко нарочно поляка подвелъ, и посадилъ ихъ обоихъ на хлѣбъ-на воду, а самъ послалъ за поручикомъ Фингершинлеромъ и очень удивился, когда тотъ ко мнѣ почти въ ту же минуту явился и совсѣмъ въ трезвомъ видѣ.

«Вотъ, думаю, нѣмецъ ихъ достигнетъ.»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

— Очень радъ, говорю, — что могу васъ видѣть и совсѣмъ свѣжаго.

— Какъ же, капитанъ, отвѣчаетъ, — я уже очень давно, даже еще со вчерашняго дня, совсѣмъ ничего не пью.

— Ну, вотъ видите ли, говорю, — это мнѣ очень большая радость, потому что я терплю смѣшную, но неодолимую досаду: вы знаете, у насъ во фронтѣ три жиды, очень смиренные люди, но должно быть отбиться отъ службы хотять — все падаютъ. Вы — нѣмецъ, человекъ твердой воли, возьмитесь вы за нихъ и одолѣйте эту проклятую ихъ привычку.

— Хорошо, говорить, — я ихъ отучу.

Училъ онъ ихъ цѣлый день, а на слѣдующее утро опять та же исторія: выстрѣлили и попадали.

Повелъ ихъ нѣмецъ доучивать, а вечеромъ я спрашиваю вѣстового:

— Какъ наши жиды?

— Живы, говорить, — ваше благородіе, а только ши на что не похожи.

— Что это значитъ?

— Не могу знать для чего, ваше благородіе, а ничего распознать нельзя.

Обезпокоился я, не случилось ли чего черезчуръ глупаго, потому что съ одной стороны они всякаго изъ терифіи могли вывести, а съ другой — уже они меня въ какую-то меланхолю вогнали и мнѣ такъ и стало чудиться — не нажить бы съ ними бѣды.

Одѣлся я и иду въ ихъ закуту; но, еще не доходя, встрѣчаю солдата, который отъ нихъ идетъ, и спрашиваю:

— Живы жиды?

— Какъ есть живы, ваше благородіе.

— Работаютъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.

— Что же они дѣлаютъ?

— Морды вверхъ держатъ.

— Что ты врешь, — зачѣмъ морды вверхъ держатъ?

— Очень морды у нихъ, ваше благородіе, поопухли, какъ будто пчелы изъѣли, и глазъ не видать; работать никакъ невозможно, только пить просятъ.

— Господи! — воскликнулъ я въ душѣ своей, — да что же за мука такая мнѣ ниспослана съ этими тремя жидовинами; не беретъ ихъ ни таска, ни ласка, а между тѣмъ того и гляди, что переломить ихъ не переломишь, а либо тотъ, либо другой изувѣчитъ ихъ.

И уже самъ я въ эти минуты былъ противъ Мордвинова:

— Гораздо лучше, думаю, — если бы ихъ въ рекруты не брали.

Вхожу въ такомъ волненіи гдѣ были жиды, и вижу — дѣйствительно, всѣ они трое сидятъ на колѣняхъ, а руками въ землю опираются и лица кверху задрали.

Но, Боже мой, что это были за лица! Ни глазъ, ни рта — ничего не размотришь, даже носы жидовскіе и тѣ обезформились, а все вмѣстѣ скинѣлось и слилось въ одну какую-то безобразную, синебагровую наплежку. Я просто ужаснулся, и, ничего не спрашивая, пошелъ домой, понури голову.

Но тутъ-то, въ моментъ величайшаго моего сознанія своей немощи, и пришла ко мнѣ помощь нежданная и необыкновенно могущественная.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Вхожу я въ свою квартиру, которая была заперта, послѣ посажденія подъ арестъ Шельменки, и вижу—на полу лежитъ довольно поганенькій конвертикъ и подписанъ онъ моему благородію съ обозначеніемъ слова «секретъ».

Все надписаніе сдѣлано неумѣлымъ почеркомъ, въ родѣ того, какимъ у насъ на Руси пишутъ лавочные мальчишки. Способъ доставки мнѣ тоже понравился — подметный, т. е. самый великорусскій.

Письмо, очевидно, было брошено мнѣ въ окно тѣмъ обычнымъ путемъ, которымъ въ старину подбрасывались извѣты о «словѣ и дѣлѣ», а понынѣ возвѣщается о красномъ шѣтухѣ и его дѣтяхъ.

Ломаю конвертъ и достаю гризноватый листокъ, на которомъ начинается сначала долгое титулованіе моего благородія, потомъ извиненія о безпокойствѣ и просьбы о прощеніи, а затѣмъ такое изложеніе: «осмѣливаюсь я вамъ доложить, что какъ послѣ тѣлеснаго меня наказанія за дамскую никсу (т. е. кинксень), лежалъ я все время въ обложной болѣзни съ внутренностями въ кievскомъ воишпиталѣ и тамъ даютъ нашему брату только одну булычку и несчастной сушь, то очень желамши чернаго христіанскаго хлѣба, задолжалъ я фершалу три гривенника и оставилъ тамъ ему въ закладъ салоги, которые получилъ съ богомольцами изъ своей стороны, изъ Кремъ, замѣсто родительскаго благословенія. А потому прибѣгаю къ вашему благородію какъ къ командеру за помощію: нѣтъ ли въ царствѣ вашего благородія столько милосердныхъ денежекъ на выкупъ моего благословенія для обуви ногъ, за что вашему благородію все воздастъ Богъ въ день страннаго своего пришествія, а я, въ ожиданіи всей вашей ко мнѣ благоволенія, остаюсь по гробъ жизни вашей роты рядовой солдатъ, Семенъ Мамашкинъ».

Тѣмъ и кончилась страница «секрета», но я былъ такъ благоразуменъ, что, не смотря на подпись, заключающую письмо, перевернулъ листокъ и на слѣдующихъ его страницахъ нашелъ настоящій «секретъ». Пишетъ мнѣ далѣе господинъ Мамашкинъ нижеслѣдующее:

«А что у насъ отъ жидовъ по службѣ, черезъ ихъ паденіе начался обегдотъ и вашему благородію есть опасеніе,

что через то может послѣдовать портежь по всей арміи, то я могу всё эти кляверзы уничтожить».

Прочель я еще это письмо, и, самъ не знаю почему, оно мнѣ показалось серьезнымъ.

Только не мало меня удивило, что я всёхъ своихъ солдатъ отлично знаю и въ лицо и по имени, а этого Семеона Мамашкина будто не слыхиваль и про какую онъ дамскую никеу писалъ—тоже не помню. Но какъ разъ въ это время заходить ко мнѣ Полуфертъ и напоминаетъ мнѣ, что это тотъ самый солдатикъ, который, выходя на рѣкъ свои бѣлые штаны, надѣлъ ихъ на плечи и, встрѣтясь съ становихою, сдѣлалъ ей реверансъ и сказалъ: «кланяйтесь бабушкѣ и поцѣлуйте ручку». За это мы его въ успокоеніе штатскихъ властей посѣкли, а потомъ онъ, отъ какого-то другого случая, былъ боленъ и лежалъ въ лазаретѣ.

Впрочемъ, Полуфертъ рекомендовалъ мнѣ этого Мамашкина какъ человѣка крайне легкомысленнаго.

— Муа же ле коню бьень,—говорилъ Полуфертъ;—сетъ беть Мамашкинъ: онъ у меня въ изводѣ и, — ву саве, — иль мель боку, и все просить себѣ «хлѣба супротивъ человѣческаго положенія».

— Пришлите его, пожалуйста, ко мнѣ: я хочу его видѣть.

— Не совѣтую,—говорить Полуфертъ.

— А почему?

— Паръ се ке же ву ди—иль мель боку.

— Ну, «мель» не «мель», а я его хочу выслушать. И съ этимъ кликнулъ вѣстового и говорю:

— Слетай на одной ногѣ, братецъ, въ роту, позови ко мнѣ изъ второго взвода рядового Мамашкина.

А вѣстовой отвѣчаетъ:

— Онъ здѣсь, ваше благородіе.

— Гдѣ здѣсь?

— Въ сѣняхъ, при кухнѣ, дожидается.

— Кто же его звалъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, самъ пришелъ, — говоритъ, будто извѣстился въ томъ, что скоро требовать будутъ.

— Ишь, говорю,—какой торопливый, времени даромъ не тратить.

— Точно такъ,—говорить,—онъ уже щенка вашего благородія чистымъ дегтемъ вымазалъ и съ золой отмылъ.

— Отлично, думаю, — я все забывалъ приказать этого щенка отмыть, а мосье Мамашкинъ самъ догадался, значить—практикъ, а не то что «нль мель боку», и я приказалъ Мамашкина сейчасъ же ввести.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Входитъ этакій солдатикъ чистенькій, лѣтъ двадцати трехъ-четырехъ, съ маленькими усиками, блѣдноватъ немножко, какъ бываетъ послѣ долгой болѣзни, но каріе маленькіе глазки смотрятъ бойко и смѣливо, а въ манерѣ не только нѣтъ никакой робости, а, напротивъ, даже нѣкоторая простодушная развязность.

— Ты, говорю, — Мамашкинъ, ѣсть очень сильно желаешь?

— Точно такъ, отвѣчаетъ, — очень сильно желаю.

— А все-таки не хорошо, что ты родительское благословіе проѣлъ. ⁴

— Виноватъ, ваше благородіе, удержаться не могъ, потому даютъ, ваше благородіе, все одну булочку да неснсный супъ.

— А все же, говорю, — отецъ тебя не похвалить.

Но онъ меня успокоилъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери.

— Тятеньки, говоритъ, — у меня совсѣмъ и въ заводѣ не было, а маменька померла, а сапоги прислалъ цѣловальникъ изъ орловскаго кабака, возлѣ котораго Мамашкинъ до своего рекрутства калачи продавалъ. Но сапоги были важнѣйшіе: на двойныхъ передачахъ и съ поднарядомъ.

— А какой, говорю, — ты мнѣ хотѣлъ секретъ сказать объ обедотѣ?

— Точно такъ, отвѣчаетъ, — а самъ на Полуферта смотритъ.

Я понялъ, что, по его мнѣнію, тутъ «лишнія бревна есть», и безъ церемоніи послалъ Полуферта исполнять какое-то порученьишко, а солдата спрашиваю:

— Теперь можешь объяснить?

— Теперь могу-съ, отвѣчаетъ: — евреи въ дѣйствительности не по природѣ надаютъ, а дѣлаютъ одинъ обедотъ, чтобы службой обѣжать.

— Ну, это я и безъ тебя знаю, а ты какое средство противъ ихъ обедота придумалъ?

— Всю ихъ хитрость, ваше благородіе, въ два мига разрушу.

— Небось, какъ-нибудь еще на иной манеръ ихъ бить выдумалъ?

— Боже сохрани, ваше благородіе! рѣшительно безъ всякаго бойла; даже безъ самой пустой подщечины.

— То-то и есть, а то они уже и безъ тебя и въ хвостъ и въ голову избиты... Это противно.

— Точно такъ, ваше благородіе, — человѣчество надо помнить: я, разсмотрѣвъ ихъ, видѣлъ, что весь спинной календарь до того расписанъ, что открышку поднять невозможно. Я оттого и хочу ихъ сразу отъ всего страданья избавить.

— Ну, если ты такой добрый и надѣнешся ихъ безъ битья исправить, такъ говори, въ чемъ твой секретъ?

— Въ разсужденіи здраваго разсудка.

— Можетъ-быть, голодомъ ихъ морить хочешь?

Опять отрицается.

— Боже, говоритъ, — сохрани! пускай себѣ что хотятъ ѣдятъ: хоть свой рыбный супъ, хоть даже говяжій мышекъ, — что имъ угодно.

— Такъ мнѣ, говорю, — любопытно: чѣмъ же ты ихъ хочешь донять?

Проситъ этого не понуждать его открывать, потому что такъ уже онъ поладилъ сдѣлать все дѣло въ секретѣ. И клянется, и божится, — что никакого обмана нѣтъ и ошибки быть не можетъ, что средство его вѣрное и безопасное. А чтобы я не безпокоился, то онъ кладетъ такой зарокъ, что если онъ нашу жидовскую кувыркаллегію уничтожить, то ему за это ничего, окромя трехъ гривенниковъ на выкупъ благословенныхъ сагоговъ не нужно, «а если повторится опять тотъ самый многократъ, что они упадутъ», то тогда ему, господину Мамашкину, занести въ спинной календарь двѣсти палокъ.

Пари, какъ видите, для меня было совсѣмъ безпронгрышное, а онъ кое-чѣмъ рисковалъ.

Я задумался и, какъ русскій человѣкъ, заподозрилъ, что землячокъ какою ни на есть хитростью хочетъ съ меня что-то сорвать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Посмотрѣлъ я на Мамашкина въ упоръ и спрашиваю:

— Что же тебѣ, можетъ-быть, расходъ какой-нибудь нуженъ?

— Точно такъ, говорить,—расходъ надо безиремѣнно.

— И большой?

— Очень, ваше благородіе, значительный.

— Ну, лукавъ, думаю, лукавъ, — откройся скорѣе, — па сколько ты замахнулся отца-командира объегорить.

— Хорошо, говорю, — я тебѣ дамъ сколько надо, и для вянцнаго ему соблазна руку къ кошельку протягиваю, но онъ замѣтилъ мое движеніе и перебиваетъ:

— Не извольте, ваше благородіе, беспокоиться, па такую неткаль не надо ничего изъ казны брать, — мы сею статью такъ раздобудемся. Миѣ позвольте только двухъ товарищей — Петрова да Иванова съ собой взять.

— Воровства дѣлать не будете?

— Боже сохрани! займемъ что надо, и какъ все справимъ, такъ въ исправности назадъ отдадимъ.

Убѣждаюсь, что человекъ этотъ не стремится съ меня сорвать, а хочетъ произвести свой полезный для меня и свреевъ опытъ собственными средствами, и снова чувствую къ нему довѣріе и, разрѣшивъ ему взять Петрова и Иванова, отпускаю съ обѣщаніемъ, если опытъ удастся, выкупить его благословенные сапоги.

А какъ все это было вечеру сущу, то самъ я, мало годи, легъ спать и заснулъ скоро и прекрѣпко.

Да! — позабылъ вамъ сказать, что весьма важно для дѣла: Маманкинтъ, послѣ того, какъ я его отпустилъ, пожелавъ миѣ «счастливо оставаться», выговорилъ, чтобы обработанные Фингершилеромъ евреи были выпущены изъ-подъ занора на «вольность вольдуха», дабы у нихъ морды потпухли. Я на это соблаговолилъ и даже еще посмѣялся: — откуда онъ беретъ такое краснорѣчіе, какъ «вольность вольдуха», а онъ миѣ объяснилъ, что всѣ разныя такія хорошія слова онъ усвоилъ, продавая проѣзжимъ господамъ калачи.

— Ты, братъ, способный человекъ, — похвалилъ я его и легъ спать, по правдѣ сказать, ничего отъ него не ожидая.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Во снѣ миѣ снился Полуфергъ, который все вынытывалъ, что говорилъ миѣ Маманкинтъ, и увѣрялъ, что «иль мель боку», а потомъ звалъ меня «жуе о картѣ император-

скаго воспитательнаго дома», а я его прогонялъ. Въ этомъ прошла у меня украинская ночь; и чуть надъ Бѣлою Церковью начала алѣть слабая предразсвѣтная заря, и проснулся отъ тихаго зова, который несся ко мнѣ въ открытое окно спальни.

Это будиль меня Мамашкинъ.

Слышу, что въ окно точно любовный шопотъ вѣсть:

— Вставайте, ваше благородіе, — все готово.

— Что же надо сдѣлать?

— Пожалуйте на ученье, гдѣ всегда собираемся.

А собирались мы на рѣкѣ Роси, за мѣстечкомъ, въ превосходномъ расположеніи. Тутъ и лѣсокъ, и рѣка, и просторный выгонъ.

Было это немножко рано, но я всталъ и пошелъ посмотреть, что мой Мамашкинъ тамъ устроилъ.

Прихожу и вижу, что черезъ всю рѣку протянута веревка, а на ней держатся двѣ лодки, а на лодкахъ положена кладка въ одну доску. А третья лодка впереди въ лѣзѣ спрятана.

— Что же это за флотилія? спрашиваю.

— А это, говоритъ, — ваше благородіе, «снасть». Какъ ваше благородіе скамандуете ружья зарядить на берегу, такъ сейчасъ добавьте имъ команду: «налѣво кругомъ», и чтобы фаршированнымъ маршемъ на кладку, а мнѣ впереди; а какъ жиды за мною взойдутъ, такъ — «оборотъ лицомъ къ рѣкѣ», а сами садьте въ лодку, посередь рѣки къ намъ визавидомъ станьте и дайте команду: «пли». Они выстрѣлятъ и ни за что не упадутъ.

Посмотрѣвъ я на него и говорю:

— Да ты, пожалуй, три гривеника стоишь.

И какъ люди пришли на ученье, — я все такъ и сдѣлалъ, какъ говорилъ Мамашкинъ, и... представьте себѣ — жиды вѣдь въ самомъ дѣлѣ ни одинъ не упалъ! Выстрѣлили и стоятъ на досточкѣ, какъ журавлики.

И говорю: — что же вы не падаете?

А они отвѣчаютъ: — «мозе, ту глибоко».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Мы не вытерпѣли и спросили полковника:

— Неужто тѣмъ и кончилось?

— Никогда больше не падали, — отвѣчалъ Стадниковъ: —

и все какъ рукой сняло. Сейчасъ же, по всѣмъ трактамъ къ Василькову, Сквирѣ и Звенигородкѣ, всѣ, во единомъ образѣ, видѣли, какъ проѣзжалъ верхомъ какой-то «жидъ каштановатый, конь сивый, бородатый», — и кувыркаллегія повсемѣстно сразу кончилась. Да и нельзя иначе: вѣдь евреи же люди очень умные: какъ они увидѣли, что ни шибкомъ да рывкомъ, а настоящимъ умомъ за нихъ взялись, — они и полно баловаться. Даже благодарили, что, говорятъ, «теперь наши видятъ, что намъ нельзя было не служить». Вѣдь они больше своихъ боятся. А вскорѣ и «Рвоть» пріѣхалъ, и оралъ, оралъ: «запнаррю... закккаттаю!» а ужъ къ чему это относилось, того, чай, онъ и самъ не зналъ, а за жидовъ мы отъ него даже получили отеческое «благодарррю!», которое и старались употребить на улучшение солдатскаго приварка, — только не очень наварно выходило.

— Ну, а что же за все это было Мамашкину?

— Я ему выдалъ три гривенника на благословенные сапоги и четвертый гривенникъ прибавилъ за сборъ этой спасти его собственными средствами. Онъ вѣдь все это у жидовъ же и позаимствовалъ: и лодки, и доски, и веревки — надо было потомъ все это честно возвратить собственникамъ, чтобы никто не обижался. Но этотъ гривенникъ все и испортилъ: — не умѣли дурачки раздѣлить десять на три безъ остатка и все у жида въ шинкѣ прошли.

— А благословенные сапоги?

— Вѣроятно, такъ и пропали. Ну, да вѣдь когда дѣло государственныхъ вопросовъ касается, тогда частные интересы не важны

ДУХЪ ГОСПОЖИ ЖАНЛИСЬ.

СПИРИТИЧЕСКІЙ СЛУЧАЙ.

«Духа иногда гораздо легче вызвать,
чѣмъ отъ него избавиться».

А. Б. Калметъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Странное приключеніе, которое я намѣренъ рассказать, имѣло мѣсто нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и теперь оно можетъ быть свободно рассказано, тѣмъ болѣе, что я выговариваю себѣ право не называть при этомъ ни одного собственнаго имени.

Зимой, 186** года, въ Петербургъ прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее изъ трехъ лицъ: матери, пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкаго образованія и имѣвшей наилучшія свѣтскія связи въ Россіи и за границу; сына ея, молодого человѣка, начавшаго въ этотъ годъ служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошелъ семнадцатый годъ.

Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границу, гдѣ покойный мужъ старой княгини занималъ мѣсто представителя Россіи при одномъ изъ второстепенныхъ европейскихъ дворовъ. Молодой князь и княжна родились и выросли въ чужихъ краяхъ, получивъ тамъ вполне иностранное, но очень тщательное образованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Княгиня была женщина весьма строгихъ правилъ и заслуженно пользовалась въ обществѣ самой безукоризненной репутаціей. Въ своихъ мнѣніяхъ и вкусахъ она придерживалась взглядовъ прославленныхъ умомъ и талантами французскихъ женщинъ временъ процвѣтанія женскаго ума и талантовъ во Франціи. Княгиню считали очень начитанною и и говорили, что она читаетъ съ величайшимъ разборомъ. Самое любимое ея чтеніе составляли письма г-жи Савиньи, Лафаетъ и Монтенонъ, а также Коклюсъ и Данго Кулакижъ, но всѣхъ больше она уважала г-жу Жанлисъ, къ которой она чувствовала слабость, доходившую до обожанія. Маленькіе томики прекрасно сдѣланнаго въ Парижѣ изданія этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные въ голубой сафьянъ, всегда помѣщались на красивой стѣнной этажеркѣ, висѣвшей надъ большимъ кресломъ, которое было любимымъ мѣстомъ княгини. Надъ перламутровой инкрустаціей, завершавшей самую этажерку, свѣшиваясь съ темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная изъ terra-cota миниатюрная ручка, которую цѣловалъ въ своемъ Фернеѣ Вольтеръ, не ожидавшій, что она уронитъ на него первую каплю тонкой, но ѣдкой критики. Какъ часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней подъ рукой и княгиня говорила, что они имѣютъ для нея особенное, такъ сказать, таинственное значеніе, о которомъ она не всякому рѣшилась бы рассказывать, потому что этому не всякій можетъ повѣрить. По ея словамъ, выходило, что она не разстанется съ этими волюмами «съ тѣхъ поръ, какъ себя помнитъ», и что они лягутъ съ нею въ могилу.

— Мой сынъ,—говорила она:— имѣетъ отъ меня порученіе положить книжечки со мной въ гробъ, подъ мою гробовую подушку, и я увѣрена, что онѣ пригодятся мнѣ даже послѣ смерти.

И осторожно пожелалъ получить хотя бы самыя отдаленныя объясненія по поводу послѣднихъ словъ, — и получилъ ихъ.

— Эти маленькія книги,—говорила княгиня:— напоены духомъ Фелиситы (такъ она называла in-me Genlis, въроятно, въ знакъ короткаго съ нею общенія). Да, свято вѣри

въ безсмертіе духа человѣческаго, я также вѣрю и въ его способность свободно сноситься изъ-за гроба съ тѣми, кому такое сношеніе нужно и кто умѣетъ это цѣнить. Я увѣрена, что тонкій флюидъ Фелиситы избралъ себѣ пріятное мѣстечко подъ счастливымъ сафьяномъ, обнимающимъ листки, на которыхъ опочили ея мысли, и если вы не со всѣмъ невѣрующей, то я надѣюсь, что вамъ это должно быть понятно.

Я молча поклонился. Княгиня, повидимому, понравилось, что я ей не возражалъ, и она въ награду мнѣ прибавила, что все, ею мнѣ сейчасъ сказанное, есть не только вѣра, но настоящее и полное *убѣжденіе*, которое имѣетъ такое твердое основаніе, что его не могутъ поколебать никакія силы.

— И это именно потому, — заключила она: — что я имѣю множество доказательствъ, что духъ Фелиситы живетъ, и живетъ именно здѣсь!

При послѣднемъ словѣ княгиня подняла надъ головою руку и указала изящнымъ пальцемъ на этажерку, гдѣ стояли голубые волумы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я отъ природы немножко суевѣренъ и всегда съ удовольствіемъ слушаю рассказы, въ которыхъ есть хотя какое-нибудь мѣсто таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислившая меня по разнымъ дурнымъ категоріямъ, одно время говорила, будто я спиритъ.

Притомъ же, къ слову сказать, все, о чемъ мы теперь говоримъ, происходило какъ разъ въ такое время, когда изъ-за границы къ намъ приходили въ изобиліи вѣсти о спиритическихъ явленіяхъ. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видалъ причины не интересоваться тѣмъ, во что начинаютъ вѣрить люди.

«Множество доказательствъ», о которыхъ упоминала княгиня, можно было слышать отъ нея множество разъ: доказательства эти заключались въ томъ, что княгиня издавна образовала привычку въ минуты самыхъ разнообразныхъ душевныхъ настроеній — обращаться съ сочиненіямъ г-жи Жанлисъ, какъ къ оракулу, а голубые волумы, въ свою очередь, обнаруживали неизмѣнную способность разумно отвѣчать на ея мысленные вопросы.

Это, по словамъ княгини, вошло въ ея «абитюды», которымъ она никогда не измѣняла, и «духъ», обитающій въ книгахъ, ни разу не сказалъ ей ничего неподходящаго.

Я видѣлъ, что имѣю дѣло съ очень убѣжденной послѣдовательницей спиритизма, которая притомъ не обдѣлена умомъ, опытностью и образованіемъ, и потому чрезвычайно всѣмъ этимъ заинтересовался.

Мнѣ было уже извѣстно кое-что изъ природы духовъ, и въ томъ, чему мнѣ доводилось быть свидѣтелемъ, меня всегда поражала одна общая всѣмъ духамъ странность, что они, являясь изъ-за гроба, ведутъ себя гораздо легкомысленнѣе и, откровенно сказать, глупѣе, чѣмъ проявляли себя въ земной жизни.

Я уже зналъ теорію Кардека о «шаловливыхъ духахъ» и теперь крайне интересовался: какъ удостоить себя показать при мнѣ духъ остроумной маркизы Сюльери, графини Брюсларь?

Случай къ тому не замедлил, но какъ и въ короткомъ разсказѣ, такъ же какъ въ маленькомъ хозяйствѣ, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпѣнія, прежде чѣмъ довести дѣло до сверхъестественнаго момента, способнаго превзойти всяческія ожиданія.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Люди, составлявшіе небольшой, но очень избранный кругъ княгини, вѣроятно, знали ея причуды; но какъ все это были люди воспитанные и учтивые, то они умѣли уважать чужія вѣрованія даже въ томъ случаѣ, если эти вѣрованія рѣзко расходились съ ихъ собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда съ княгиней объ этомъ не спорилъ. Впрочемъ, можетъ быть и то, что друзья княгини не были увѣрены въ томъ, что она считаетъ свои голубые волюмы обитающимъ «духа» ихъ автора въ прямомъ и непосредственномъ смыслѣ, а принимали эти слова какъ риторическую фигуру. Наконецъ, можетъ быть и еще проще, т. е. что они принимали все это за шутку.

Одинъ, кто не могъ смотрѣть на дѣло такимъ образомъ, къ сожалѣнію, былъ я; и я имѣлъ къ тому свои основанія, причины которыхъ, можетъ-быть, кроются въ легковѣрїи и впечатлительности моей натуры.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вниманію этой великосвѣтской дамы, которая открыла мнѣ двери своего уважаемаго дома, я былъ обязанъ тремъ причинамъ: во-первыхъ, ей почему-то понравился мой рассказъ: «Запечатлѣнный Ангелъ», незадолго передъ тѣмъ напечатанный въ «Русскомъ Вѣстникѣ»; во-вторыхъ, ее заинтересовало ожесточенное гоненіе, которому я ряды лѣтъ, безъ числа и мѣры, подвергался отъ моихъ добрыхъ литературныхъ собратій, желавшихъ, конечно, поправить мои недоразумѣнія и ошибки, и, въ-третьихъ, княгинѣ меня хорошо рекомендовалъ въ Парижѣ русскій іезуитъ,—очень добрый князь Гагаринъ старикъ, съ которымъ мы находили удовольствіе много бесѣдовать и который составилъ себѣ обо мнѣ не наилучшее мнѣніе.

Послѣднее было особенно важно, потому, что княгинѣ было дѣло до моего образа мыслей и настроенія; она имѣла, или, по крайней мѣрѣ, ей казалось, будто она можетъ имѣть надобность въ небольшихъ съ моей стороны услугахъ. Какъ это ни странно для человѣка такого скромнаго значенія, какъ я, это было такъ. Надобность эту княгинѣ сочинила ея материнская заботливость о дочери, которая совсѣмъ почти не знала по-русски... Привози прелестную дѣвушку на родину, мать хотѣла найти человѣка, который могъ бы сколько-нибудь ознакомить княжну съ русскою литературою,—разумѣется, исключительно *хорошою*, т. е. настоящею, а не зараженною «злобою дня».

О послѣдней книжнѣ имѣла представленія самыя смутныя и притомъ до крайности преувеличенныя. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современныхъ титановъ русской мысли,—ихъ ли силы и отваги, или ихъ слабости и жалкаго самомнѣнія; по улавливая кое-какъ, съ помощью наведенія и догадокъ «головки и хвостики» собственныхъ мыслей княгини, я пришелъ къ безошибочному, на мой взглядъ, убѣжденію, что она всего опредѣлительнѣе боялась, «вещломудренныхъ намековъ», которыми, по ея понятіямъ, была въ конецъ испорчена вся наша нескромная литература.

Разувѣрять въ этомъ княгиню было бесполезно, такъ какъ она была въ томъ возрастѣ, когда мнѣнія уже сложились прочно, и очень рѣдко кто способенъ подвергать

ихъ новому пересмотру и повѣркѣ. Она, несомнѣнно, была не изъ этихъ, и, чтобы ее переувѣрить въ томъ, во что она увѣровала, недостаточно было слова обыкновеннаго человека, а это могло быть по силамъ развѣ духу, который счелъ бы нужнымъ придти съ этою цѣлью изъ ада или изъ рая. Но могутъ ли подобныя мелкія заботы занимать безплотныхъ духовъ безвѣстнаго міра; не мелки ли для нихъ всѣ, подобныя настоящему, споры и заботы о литературѣ, которую и несравненно большая доля живыхъ людей считаетъ пустымъ занятіемъ пустыхъ головъ?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая такимъ образомъ, я очень грубо заблуждался. Привычка къ литературнымъ преувѣщеніямъ, какъ мы скоро увидимъ, не оставляетъ литературныхъ духовъ и за гробомъ, а читателю будетъ предстоить задача рѣшить: въ какой мѣрѣ эти духи дѣйствуютъ уснѣнно и остаются вѣрны своему литературному прошлому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Благодаря тому, что княгиня имѣла на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей въ выборѣ литературныхъ произведеній для молодой княжны, была очень опредѣлительна. Надо было, чтобы княжна могла изъ этого чтенія узнавать русскую жизнь и притомъ не встрѣтить ничего, что могло бы смутить дѣвственный слухъ. Материнскою цензурой княгини цѣликомъ не допускался ни одинъ авторъ, ни даже Державинъ и Жуковский. Всѣ они ей представлялись не вполнѣ надежными. О Гоголѣ, разумеется, нечего было и говорить, — онъ цѣликомъ изгонялся. Изъ Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгеній Онѣгинъ», но послѣдній съ значительными урѣзками, которыя собственноручно отмѣчала княгиня. Лермонтовъ не допускался, какъ и Гоголь. Изъ новѣйшихъ одобрялся несомнѣнно одинъ Тургеневъ, но и то кромѣ тѣхъ мѣстъ, «гдѣ говорить о любви», а Гончаровъ былъ изгнанъ, и хотя я за него довольно смѣло заступался, но это не помогло, княгиня отмѣчала:

— Я знаю, что онъ большой художникъ, но это тѣмъ хуже, — вы должны признать, что у него есть разжигающіе предметы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я во что бы то ни стало хотѣлъ знать: что такое именно разумѣетъ книжница подъ *разжигающими предметами*, которые она нашла въ сочиненіяхъ Гончарова. Чѣмъ онъ могъ, при его мягкости отношеній къ людямъ и обуревающимъ ихъ страстямъ, оскорбить чье бы то ни было чувство?

Это было до такой степени любопытно, что я пауустилъ на себя смѣлость и прямо спросилъ, какіе у Гончарова есть разжигающіе предметы?

На этотъ откровенный вопросъ я получилъ откровенный же, острымъ нопотомъ произнесенный, односложный отвѣтъ: «локти».

Мнѣ показалось, что я не вслушался или не понялъ.

— Локти, локти,—повторила книжница и, види мое недо-разумѣніе, какъ будто рассердилась. — Неужто вы не помните... какъ его этотъ... герой гдѣ-то... тамъ засматривается на голые локти своей... очель простой какой-то дамы?

Теперь я, конечно, вспомнилъ извѣстный эпизодъ изъ «Обломова» и не нашелъ отвѣтить ни слова. Мнѣ собственно тѣмъ удобнѣе было молчать, что я не имѣлъ ни нужды, ни охоты спорить съ недоступною для переубѣжденій книжницею, которую я, по правдѣ сказать, давно гораздо усерднѣе наблюдалъ, чѣмъ старался служить ей моими указаніями и совѣтами. И какія указанія я могъ ей сдѣлать послѣ того, какъ она считала возмутительнымъ неприличіемъ «локти», а вся новѣйшая литература шагнула въ эвнхъ откровеніяхъ несравненно далѣе?

Какую надо было имѣть смѣлость, чтобы, зная все это, называть хотя одно новѣйшее произведеніе, въ которыхъ покровы красоты приподняты гораздо рѣшительнѣе!

Я чувствовалъ, что, при такомъ раскрытіи обстоятельствъ, моя роль совѣтчика должна быть кончена — и рѣшился не совѣтовать, а противорѣчить.

— Книжница,—сказала я:—мнѣ кажется, что вы несправедливы: въ нашихъ требованіяхъ къ художественной литературѣ есть преувеличеніе.

Я изложилъ ей все, что, по моему мнѣнію, относилось къ дѣлу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Увлекаясь, я произнесъ не только цѣлую критику надъ ложнымъ пуризмомъ, но и привелъ извѣстный анекдотъ о французской дамѣ, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «calotte», но зато, когда ей, однажды, неизбежно пришлось выговорить это слово при королевѣ, она запнулась и тѣмъ заставила всѣхъ расхохотаться. Но я никакъ не могъ вспомнить: у кого изъ французскихъ писателей мнѣ пришлось читать объ ужасномъ придворномъ скандалѣ, котораго совсѣмъ бы не произошло, если бы дама выговорила слово «calotte» такъ же просто, какъ выговаривала его своими августѣйшими губками сама королева.

Цѣль моя была показать, что излишняя щепетильность можетъ служить во вредъ скромности, и что поэтому черезчуръ строгій выборъ чтенія едва ли нуженъ.

Княгиня, къ немалому моему изумленію, выслушала меня, не обнаруживая ни малѣйшаго неудовольствія, и, не покидая своего мѣста, подняла надъ головою свою руку и взяла одинъ изъ голубыхъ волюмовъ.

— У васъ, — сказала она:— есть доводы, а у меня есть оракулъ.

— Я, говорю, — интересуюсь его слышать.

— Это не замедлитъ: я призываю духъ Genlis, и онъ будетъ отвѣчать вамъ. Откройте книгу и прочтите.

— Потрудитесь указать, гдѣ я долженъ читать?— спросилъ я, принимая волюмчикъ.

— Указать? Это не мое дѣло: духъ самъ вамъ укажетъ. Раскройте, гдѣ пошало.

Мнѣ это становилось немножко смѣшно, и даже какъ будто стыдно за мою собесѣдницу; однако, я сдѣлалъ такъ, какъ она хотѣла, и только-что окинулъ глазомъ первый періодъ раскрывшейся страницы, какъ почувствовалъ досадительное удивленіе.

— Вы смущены?—спросила княгиня.

— Да.

— Да; это бывало со многими. Я прошу васъ читать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

«Чтеніе — занятіе слишкомъ серьезное и слишкомъ важное по своимъ послѣдствіямъ, чтобы при выборѣ его не ру-

ководить вкусами молодыхъ людей. Есть чтеніе, которое нравится юности, но оно дѣлаетъ ихъ безпечными и предрасполагаетъ къ вѣтренности, послѣ чего трудно исправить характеръ. Все это я испытала на опытѣ». Вотъ что прочелъ я, и остановился.

Княгиня съ тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою побѣду, проговорила:

— По-латыни это, кажется, называется dixi?

— Совершенно вѣрно.

Съ тѣхъ поръ мы не спорили, но княгиня не могла отказать себѣ въ удовольствіи поговорить иногда при мнѣ о невоспитаанности русскихъ писателей, которыхъ, по ея мнѣнію, «никакъ нельзя читать вслухъ безъ предварительнаго пересмотра».

О «духѣ» Genlis я, разумѣется, серьезно не думалъ. Мало ли что говорится въ этомъ родѣ.

Но «духъ», дѣйствительно, жилъ и былъ въ дѣйствіи, и, вдобавокъ, представьте, что онъ былъ на нашей сторонѣ, т. е. на сторонѣ литературы. Литературная природа взяла въ немъ верхъ надъ сухимъ резонерствомъ, и, неуязвимый со стороны приличія «духъ» г-жи Жанлисъ, заговоривъ du fond de coeur, откололъ (да, именно откололъ) въ строгомъ салонѣ такую школярскую штуку, что послѣдствія этого были исполнены глубокой трагикомедіи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

У княгини разъ въ недѣлю собирались вечеромъ къ чаю «три друга». Это были достойные люди, съ отличнымъ положеніемъ. Два изъ нихъ были сенаторы, а третій—дипломатъ. Въ карты, разумѣется, не играли, а бесѣдовали.

Говорили, обыкновенно, старшіе, т. е. княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень рѣдко вставляли свое слово. Мы болѣе поучались, и, къ чести нашихъ старшихъ, надо сказать, что у нихъ было чему поучиться,—особенно у дипломата, который удивлялъ насъ своими тонкими замѣчаніями.

Я пользовался его расположеніемъ, хотя не знаю за что. Въ сущности, я обязанъ думать, что онъ считалъ меня не лучше другихъ, а въ его глазахъ «литераторы» были всѣ «одного корня». Шутилъ онъ говорилъ: «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя».

Это-то самое мнѣніе и послужило поводомъ къ наступающему ужасному случаю.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Будучи стоически вѣрна своимъ друзьямъ, княгиня не хотѣла, чтобы такое общее опредѣленіе распространилось и на г-жу Жаплись и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала подъ своей защитой. И вотъ, когда мы собрались у этой почтенной особы встрѣчать тихо новый годъ, незадолго до часа полночи, у насъ зашелъ обычный разговоръ, въ которомъ опять упомянуто было имя г-жи Жаплись, а дипломатъ припомнилъ свое замѣчаніе, что «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя».

— Правила безъисключенія не бываетъ, — сказала княгиня.

Дипломатъ догадался — *это* долженъ быть исключеніемъ, и промолчалъ.

Княгиня не вытерпѣла и, взглянувъ по направленію къ портрету Жаплись, сказала:

— Какая же она змѣя:

Но искушенный жизнью дипломатъ стоялъ на своемъ: онъ тихо поговаривалъ пальцемъ и тихо же улыбался, — онъ не вѣрилъ ни плоти, ни духу.

Для рѣшенія несогласія, очевидно, нужны были доказательства, и тутъ-то способъ обращенія къ духу вышелъ кетати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для подобныхъ опытовъ, а хозяйка сначала напомнила о томъ, что мы знаемъ насчетъ ея вѣрованій, а потомъ и предложила опытъ.

— И отвѣчаю, — сказала она: — что самый придирчивый человекъ не найдетъ у Жаплись ничего такого, чего бы не могла прочесть велухъ самая невинная дѣвушка, и мы это сейчасъ попробуемъ.

Она опять, какъ въ первый разъ, закинула руку къ номѣщавшейся также надъ ея этаблѣсманомъ этажеркѣ, взяла безъ выбора волюмъ, — и обратилась къ дочери:

— Мое дитя! раскрой и прочти намъ страничку.

Книжка повиновалась.

Мы все изображали собою серьезное ожиданіе.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Если писатель начинаетъ обрисовывать внѣшность выведенныхъ имъ лицъ въ концѣ своего разсказа, то онъ до-

стоишь порицанія: но я писала эту бездѣлку такъ, чтобы въ ней никто не былъ узнавъ. Поэтому я не ставилъ никакихъ именъ и не давалъ никакихъ портретовъ. Портретъ же княжны и превышалъ бы мои силы, такъ какъ она была вполне, что называется, «ангелъ во плоти». Что же касается всесовершенной ея чистоты и невинности, — она была такова, что ей можно было даже доверитъ рѣшить неодолимой трудности богословскій вопросъ, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner». За эту, непричастную ни къ какому грѣху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее выше міра и страстей. И княжна, съ этою именно невинностью, предельно грациозно, прочитала интересные воспоминанія Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Занежь говорила о толстомъ Джиббонѣ, котораго французской писательницѣ рекомендовали какъ знаменитаго автора. Жаннись, какъ извѣстно, скоро его разгадала и бѣдо осмѣяла французовъ, увлеченныхъ дутой репутаціей этого иностранца.

Далѣе я привожу по извѣстному переводу съ французскаго подлинника, который читала княжна, способная рѣшить споръ между «Bernardiner und Rabiner»:

«Джиббонъ малъ ростомъ, чрезвычайно толстъ и у него преудивительное лицо. На этомъ лицѣ невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глазъ, ни рта совсѣмъ не видно: двѣ жирныя, толстыя щеки, похожія чортъ знаетъ на что, поглощаютъ все... Онѣ такъ надулись, что совсѣмъ отошли отъ всякой соразмѣрности, которая была бы маломальски прилична для самыхъ большихъ щекъ; каждый, увидавъ ихъ, долженъ былъ бы удивляться: зачѣмъ это мѣсто помѣщено не на своемъ мѣстѣ. Я бы характеризовала лицо Джиббона однимъ словомъ, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозень, который былъ очень коротокъ съ Джиббономъ, привелъ его однажды къ Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слѣпа и имѣла обыкновеніе оцупывать руками лица вновь представляемыхъ ей замѣчательныхъ людей. Такимъ образомъ она усвоила себѣ довольно вѣрное понятіе о чертахъ новаго знакома. Къ Джиббону она приложила тотъ же осязательный способъ, и это было ужасно. Англичанинъ подошелъ къ креслу и особенно добродушно подставилъ ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила къ нему свои руки и повела

пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала на чемъ бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо стѣпой дамы сначала выразило изумленіе, потомъ гнѣвъ, и, наконецъ, она, быстро отдернувъ съ гадливостью свои руки, вскричала: «какая гадкая шутка!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Здѣсь былъ конецъ и чтенію, и бесѣдѣ друзей, и ожидаемой встрѣчѣ наступающаго года, потому что, когда молодая княжна, закрывъ книгу, спросила: — что такое показалось m-me Dudeffand? то лицо княгини было столь страшно, что дѣвушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась въ другую комнату, откуда сейчасть же послышался ея плачь, похожій на истерику.

Братъ побѣжалъ къ сестрѣ, и въ ту же минуту широкимъ шагомъ поспѣшила туда княгиня.

Присутствіе постороннихъ людей было теперь некстати, и потому всѣ «три друга» и я сію же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встрѣчи новаго года бутылка вдовы Кликко осталась завернутою въ салфетку, но не раскупоренною.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Чувства, съ которыми мы расходились, были томительны, но не дѣлали чести нашимъ сердцамъ, ибо, содержа на лицахъ усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавшій насъ смѣхъ, и не въ мѣру старательно наклонялись, отыскивая свои калоши, что было необходимо, такъ какъ прислуга тоже разбѣжалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болѣзнью барышни.

Сенаторы сѣли въ свои экипажи, а дипломатъ прошелся со мною пѣшкомъ. Онъ хотѣлъ освѣжиться и, кажется, интересовался узнать мое незначущее мнѣніе о томъ, что могло представиться мысленнымъ очамъ молодой княжны, послѣ прочтенія извѣстнаго намъ мѣста изъ сочиненій m-me Жанль?

Но я рѣшительно не смѣлъ дѣлать объ этомъ никакихъ предположеній.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Съ несчастнаго дня, когда случилось это происшествіе, и не выдалъ болѣе ни княгиня, ни ея дочери. Я не могъ рѣ-

шиться идти поздравить ее съ новымъ годомъ, а только по-слать узнать о здоровьи молодой княжны, но и то съ большою перфшительностью, чтобъ не приняли этого въ другую сто-рону. Визиты же «кондолеансы» мнѣ казались совершенно неумѣстными. Положеніе было преглуное: вдругъ перестать посѣщать знакомый домъ выходило грубостью, а явиться туда—тоже казалось некстати.

Можетъ быть я былъ и неправъ въ своихъ заключеніяхъ, но мнѣ они казались вѣрными; и я не ошибся: ударъ, ко-торый перенесла княгиня подь новый годъ отъ «духа» г-жи Жанлисъ, былъ очень тяжелъ и имѣлъ серьезные послѣд-ствія.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Около мѣсяца спустя, я встрѣтился на Невскомъ съ дипломатомъ: онъ былъ очень привѣтливъ, и мы разгово-рились.

— Давно не видалъ васъ,—сказать онъ.

— Негдѣ встрѣчаться,—отвѣчать я.

— Да, мы потеряли милый домъ почтенной княгини: она, обдняяжка, должна была уѣхать.

— Какъ, говорю,—уѣхать... Куда?

— Будто вы не знаете?

— Ничего не знаю.

— Они всѣ уѣхали за границу, и я очень счастливъ, что могъ устроить тамъ ся сына. Этого нельзя было не сдѣлать послѣ того, что тогда случилось... Какой ужасъ! Несчаст-ная, вы знаете, она въ ту же ночь сожгла всѣ свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, отъ которой, впро-чемъ, кажется, уцѣлѣлъ на память одинъ пальчикъ, или, лучше сказать, шинь. Вообще пренеприятное происшествіе, но зато оно служитъ прекраснымъ доказательствомъ одной великой истины.

— По-моему: даже двухъ и трехъ.

Дипломатъ улыбнулся и, смотря мнѣ въ упоръ, спро-силъ:

— Какихъ-съ?

— Во-первыхъ, это доказываетъ, что книги, о которыхъ мы рѣшаемся говорить, нужно прежде прочесть.

— А во-вторыхъ?

— А во-вторыхъ,—что неблагоприятно держать дѣвушку

въ такомъ дѣтскомъ невѣдѣніи, въ какомъ была до этого случая молодая княжна: иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббонѣ.

— И въ-третьихъ?

— Въ-третьихъ, что на духовъ такъ же нельзя полагаться, какъ и на живыхъ людей.

И все не то: духъ подтверждаетъ одно мое мнѣніе, что «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя» и притомъ, чѣмъ змѣя лучше, тѣмъ она опаснѣе, потому что держитъ свой ядъ въ хвостѣ.

Если бы у насъ была сатира, то это для нея превосходный сюжетъ.

Къ сожалѣнію, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только въ простой формѣ разсказа.

Профессиональный Союз
РФС — СССР

Заводской Комитетъ

Зав. № 513-3

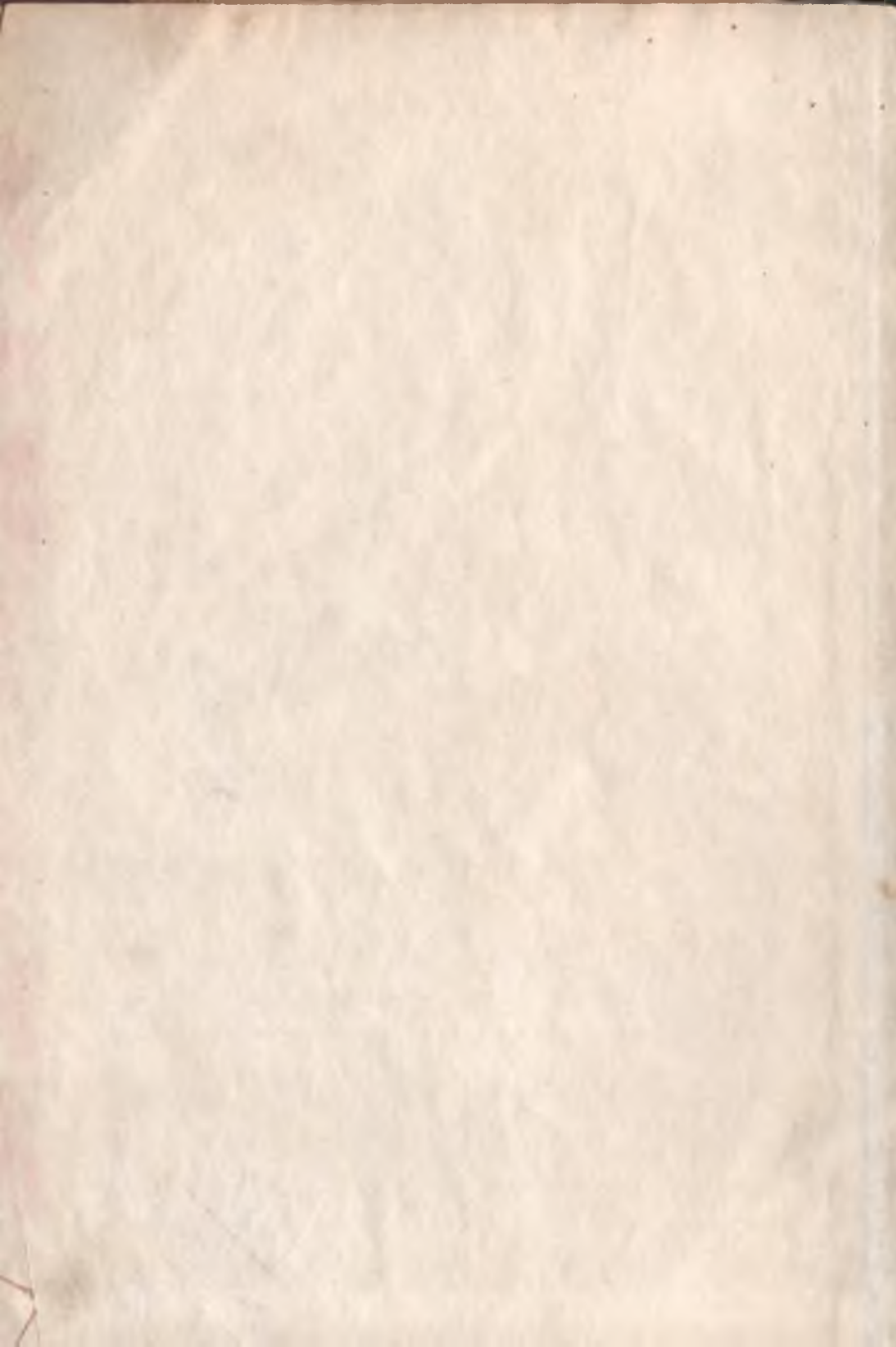
194 06

1496

Оглавление

ХVIII тома.

	стр.
Святочные рассказы:	
Предисловіе	5
Жемчужное ожерелье	6
Неразмѣнный рубль	22
Звѣрь	31
Привидѣніе въ Нижнегородскомъ замкѣ. (Изъ кадетскихъ воспоминаній)	51
Отборное зерно. (Краткая трилогія въ просонкѣ)	65
Обманъ	91
Штопальщикъ	124
Жидовская кувирколегія	140
Духъ госпожи Жанлисъ. (Спиритическій случай)	169



THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY NATHANIEL BENTLEY
VOLUME I
PUBLISHED BY
J. B. ALLEN, 1856

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

ALLEN WERA
JTO. NDE.
May

Handwritten vertical text

PL
ONE

20770.

0

